

Аркадий Драгомощенко

ТЕНЬ ЧЕРЕПАХИ

Я предпочитаю блеск мельчайшего,
но действительного события.

Поль Валери

Кончается лето. Словно переплыли озеро, а когда отплывали, — вной зеленью серебрилась глубина, расчерченная потаенным блеском рыб.

И когда потемнели подводные сады, посветлела неприкаянная поросль песка — дольше надо было вглядываться в бегущую дрожь воздуха, чтобы угадать собственное лицо.

Просто на первый взгляд. И, в самом деле; так — было Лето Господне благоприятно.

С наступлением ночей теперь исчезают последние его приметы: сгинули комары, на свету пусто, пар или туман льнет к лицу, редкие бабочки тяжело кружат у двери, но чаще припадают к стеклу и цепенеют, опоенные дремотным вином ночного ветра.

И чаще в утренние часы будто возвращаешься к забытым мыслям. Трудно назвать это размышлениями... — так, свежесть, сосредоточенность, вернее, готовность.

Подолгу взгляд останавливается на чем-то: капля росы, мокрый обрывок веревки, желтизна, в которой стоит зрачек твой, точка, на глазах превращающаяся в бегущую собаку, тени, следующие за псами, многое другое. А каждое событие, поступок, мельчайшее действие застывает в прошлом, подобно жесту, лишенному продолжения — в кристалле прошлого недвижны мы, наклонившие — то ли в знак согласия, то ли в недоумении — голову; подносящие стаканы и сигареты к губам, раскрывшие рты, точно слово должно пробежать по устам... но тихо. Очень тихо.

И вообще, все что было, будто рассказано неведомо зачем, неизвестно кому.

Никогда мне не избавиться от какой-то придуманности, никогда не избыть до конца вымысел моей жизни.

Что мы думаем о смерти, как размышляем о ней - не имеет, ровным счетом, никакого значения. Сколько бы мы ни видели мертвых, сколько бы людей не скончались на наших глазах, ничего, кроме ужаса и чувства необратимой разлуки, нам не понять, не узнать.

Сродни плоду зреет в человеке смутное и бессловесное осознание собственной бренности. Воистину, это постижение величия мироздания.

Медленно, в разные сроки, приходит истинное понимание того, что именуется смертью - крохотным зародышем дремлет в человеке смерть, ожидая часа, когда вслед за первым пробуждением - любовь - пробудит она человека во второй раз и навсегда. Теперь уже для жизни.

И как иные, прожив жизнь, не слышали о любви, так многие исчезли безвозвратно (словно не жили, не рождались, не видели и не слышали), ни разу не произнесши слово "смерть".

И что любопытно: сколько бы не готовили нас религия, философия, искусство к этим страшным и одновременно прекрасным мгновениям - и смерть порой исполнена неизъяснимой красоты, и любовь подчас несет в себе гибель и разложение - всегда сам человек и всегда в п е р в ы е открывает их для себя.

Опыт, накопленный тысячелетиями, все попытки понять, пережить, запечатлеть эти таинственные мгновения — ничто, прах, пустой звук, покуда не наступает положенный срок и человек сам, в п е р в ы ...

"Восплещем и в Москве феатр сотворим!.."

Поздним вечером, сидя в сторожке, остановился на этих словах. В стекла билась в размеренном отчаянии серебристо-зеленая мошкара. Я отложил разодранный журнал, где в трех словах пересказывалась для любопытных история русского театра, и едва не повторил вслух:

"Кто к пению способен и представлять, тем надлежит обратиться в канцелярию." Кажется, Московского университета.

— Да что же это такое, — думаю. — Почему эти слова не идут из головы! Что за ними кроется? А если ничего, то почему я уже в сотый раз повторяю их? Будто дверь какую нашел, а войти не могу...

Был некогда на Руси живописатель Васильев. С детства памятли его пейзажи в линейных номерах "Огонька", но особенно памятна картина, названная "оттенель". Вероятно, помнит ее каждый. И как не помнить? Набрякший, сродни мокрой соли, серый снег. Колен, налитые водой, низкое небо, избы, крытые почерневшей соломой, истлевшей дранью. Ветлы по обочине страшные той мертвенностью, какая бывает лишь в марте — и все исходит сыростью.

Воронье грант, скособоченный низкий крест, с незапамятных времен ставший приютом этому воронью и т.д.

Тотчас на ум приходят акварели и гравюры, запечатлевшие пору, когда и сказаны были слова о "сотворении феатра", и вижу я: город - не город; какие-то толстые спины и опять это низкое небо, сочащееся изморосью, дикостью и одиночеством. Опять мокрая солома, опять какая-то смута, какой-то неизъяснимо липкий страх, - боже мой, опр^ич^ина, удавленики, приказы, дьяки - красивное семя, юроды, блаженные... Так где же воспоем? Где ф^еа^тр сотворим?

Ах, Боря, да и какой театр? Тот ли, что века назад, когда-то (поймет ли человек время за пределами своего срока?) был необузданной безжалостной игрой? Прекрасной, безумной, подобной драгоценному камню, оправленному кипящей лазурью безмерно пустого и высокого неба, раскаленных песчанников, гранита, базальта, темного и густого, как ночь; игрой оплетенной лукавой лозой винограда?

Скудны, беспомощны мои знания, запутаны они, но и их хватает, чтобы увидеть во всей ясности и грозной прелести (и уже печали! такой, что даже дыхание пресекается) - Зевсин, ветер, траурные изваяния козлов на обрывах, скудный выгоревший поросль, порок скользнувшего из-под копыта камня, эхо и свет, какого нам и во сне не видеть.

А еще дальше Крит, трава подводная, обожженная глина, сесуди, Кносс... Отсюда отправляется Атрид к устью Симоанта?

Но все путается, не стоит на месте, дрожит, как воздух - там, над раскаленным побережьем, где на камнях оцепенели ящерицы, где гнал кобылиц бик Посейдона. Исполит -

увенчанный...

И что удивительно: я-то рожден здесь, и положено по-
тому мне другое: "по мнозех же временах сели суть славя-
не по Дунаеву и от тех словен розидошися по земли и проз-
вашися имены своими, где седше на котором месте". Сужде-
на далее мне все та же оттепель, приказы, смуты, да вро-
ды. Однако тускло оно, положенное мне прошлое, тускло и
невразумительно.

Да и не одни я такой. Как неприкаянные дети разбре-
лись мы по истории в поисках отчизны, не зная, что де-
лать нам со своей окончательно-беспомезной любовью.

Вспоминаю, как радостно было то, что называю сейчас
творчеством, лет восемь назад. Сколько мне было тогда?
Двадцать? Двадцать два?

С тихим удивлением вспоминаю, что жил тогда, именно
жил, пребывал постоянно в "поэтической стихии", в непре-
рывном в н г о в а р и в а н и и мира, где каждое дви-
жение только предпосылка нового движения - словно в реке
находился: где не зачерпни - всюду вода.

Легкость и безнаказанность! Спрашиваю, чувствовал
ли я тогда жажду? Ту жажду, за утоление которой готов от-
дать все блага, чтобы пить и пить, изумляясь где-то в
уголке сознания, что вроде бы потеряны все ощущения, про-
пал вкус воды и остался один глоток, после которого ты
извергнешь всю воду и начнешь пить снова.

...Странно, потом я начал думать, откуда приходит к человеку мысль о награде. Потом я подумал, что как только мы выделяем добро и стремимся следовать ему, то открываем путь злу, и т.д.

Все это праздные рассуждения, досужие вымыслы, но тогда опять спрашиваю себя: где она, моя радость, которая так незаметно обратилась в ад?

Если я и поэт, то уж очень печальный поэт, скучный поэт, бесполезный поэт.

Раньше, когда мой опыт был узок и неглубок, я, тем не менее, мог чем-то помочь человеку или найти, на худой конец, слова утешения, если помочь было невозможно; а теперь, когда опыт мой обширен и перерос в определенное знание, я ничем никому не могу помочь. Но разве это не жестокость?

Каждый год я ощущаю, как за стеной вырастает новая стена, и ничего мне не остается, как бесстрастно взирать на безликий облик своего одиночества.

Не отсюда ли начал свой путь Калигула у Камб?

Решил вот сейчас, когда переписываю набело свои замечания, что между страницами со словами, буду вставлять чистые листы. Два-три листа ничего не изменят, но все же как-то раздробят ощущение мнимой последовательности, которое может

возникнуть. Притом, проходили иной раз недели, месяцы, когда я и думать не думал ни о чем. Таскался невесть по каким местам, говорил неведомо о чем с разными людьми и забывал тотчас о них, как, впрочем, и они обо мне. Чистил картофель, пришивал пуговицы, брился, варил чай, писал стихи, пил пиво и прочее, и прочее. Вот пусть и будут периодически встречаться белые листы. Они и сами по себе очень красивы, и дни, которые они будут обозначать, безусловно, были такими же совершенными, без изъяна, ни единой мысли, слова.

Gen
me

Как жаль порой того, что принадлежало (о наивность!) только тебе, а потом стало всеобщим достоянием. И не жадность, не желание обладать одному тому причина, а именно жадость — потому как на "камни падают зерна".

Не секуляризация, а утилитаризация. Разумеется, всё — благие намерения, всё — извечно-глупое стремление устроить кому-то праздник, елку с подарками. Но строфа Тютчева не кулек с леденцами...

И как жаль, что она становится собственностью, как и все остальное, хама, предместья. Одежда, музыка, книги, даже эротика. Подумать только! В книжных магазинах ни одной приличной книги. Километровые очереди за "подписками" уму непостижимых авторов. Что это: вспыхнувшая эпидемия той самой пресловутой "духовной жажды"? Вряд ли.

Скорее, еще один ритуал, проигрывая который можно без особого труда (о легкости) перейти в другую, что ли, жизнь, ощутить себя причастным не только к стенам жилища. Причем здесь книги!

Вчера подошел к шкафу, провел рукой по корешкам, открыл одну книгу, другую, и поставил на место. Позвонил приятелю, но того не оказалось дома.

К вечеру пустился дождь. У окна было свежо. Где-то внизу разбивались капли, коротко и глухо стучали по листьям тополя.

И ночью шел дождь. До утра.

Если художнику в полной мере доступна красота этого мира, то в такой же мере доступно ему безобразие и зло.

Но несомненно есть какая-то иная возможность, та иная и единственная возможность, постигнув которую, знаешь, что отныне нет для тебя ни безобразия, ни зла, ни смерти, как нет и красоты, нет рождения, а есть только ты сам — несуществующий, и все это ты, а тебя нет, не было и не будет.

И приходится выбирать — создавать ли "культуру, духовность", нести свой камень, чтобы растворился он в единстве "цитадели" или же, скажем, писать стихи...

Я выбрал последнее, потому что, как это ни горько, верить могу только самому себе. А стихи?.. Они тоже скользят неуловимо где-то по краю.

И никому ничего не проповедую, не навязываю, не прихожу к "единственно верным выводам" и вообще, как недавно понял, совершенно безразличен ко всем проповедям, проблемам и решениям. Для меня нет проблем, да и никогда не было. Я знаю только иногда высокое счастье тех мгновений, когда время, словно акробат, парит между землей и небом, а я исчезаю — одновременно являясь.

Рассматривая лист бумаги, на котором записал вчера десятка два слов. Лист безупречен в своей красоте, но почерк разобрать невозможно. Конечно, был пьян. Удивительно, что когда напиваешься, то не только думаешь по-другому, а и пишешь иначе. Какой-то особенный, страшный почерк. И не прочесть, не разобрать...

И, вообще, надо ли? Вот и мой знакомый как-то под утро сонно сказал — "почему этот плохой художник уезжает в Париж объяснить можно. Но не нужно."

Невыносимой скукой недопитого, остывшего чая, табачного перегара, несуразных упований — повеяло на меня однажды вечером, когда, роюсь в книгах, перелистал дневник А. Блока; и попадались мне все места о стихии театра, комедии площадей, народности, простоте, страсти. А письма Дельмас, воспоминания Любы Менделеевой, словесная и умственная неуемность Белого, постановки Мейерхольда, религиозно-философские собрания, фальшивые откровения?...

Да всю эту скуку готов променять за четверть затертого диска Д. Джоплин. Вот она, моя "вечная женственность".

И так всегда: приляжешь в кои веки с книгой в руках, закуришь папиросу, выпустишь дым и, прислушиваясь к шуму на улице, незаметно и сладко уснешь.

Но нет! Тотчас раздастся звонок, и кто-то из друзей, задыхаясь от волнения, комкая слова, бросит в трубку:

— Старина! Какая удача, что застал. Очень нужно тебя видеть!... Мне просто необходимо видеть тебя. Сейчас приеду. Слышишь?

— А ты где?

— Рядом.

Гудки.

Идешь его час, другой, третий. Наступает вечер, ночь, утро... А потом выясняется, что друг укатил в тот же день в Москву или Крым.

И так всегда. Только приляжешь с книгой...

Б. прислал письмо. И, разумеется, не смог не "пройтись" в нем по поводу нового "подарка интеллигенции" - нового фильма режиссера Тарковского. В эти дни о нем, о "русском Беллини" только и было разговоров. Говорили на пляжах, в трамвае, в прессе.

И вот мы встретились, вскипятили чай, вспомнили институт Гринпа, где лет шесть назад проводили время в приятной компании, затем разговор незаметно перешел на фильм и так же незаметно ушел от него, коснулся женщин: того, что мы их любим, что в это лето они чудесны, иногда добры к нам, и совсем не похожи на женщин того лета. Словно те ушли, а явились совсем новые...

Стоял солнечный день. Я сказал, что мне очень нравится фраза "стоял солнечный день", и что я смог обойтись этой фразой, описывая любовь в романе, вздумай я его писать. Мы посмеялись и пошли пить пиво. По пути мы встретили К.

К. шел, размахивая палочкой без листьев. Он остановился и рассказал, что за углом милиционер отобрал у мальчика велосипед и уехал в неизвестном направлении. "А, может быть, он взял покататься..." - задумчиво добавил К.

Потом Б. сел в электричку и уехал. Я пошел домой. Я шел и говорил себе, что это божественный день, что покой его и подлинность не оставят меня, но говорил, видно, напрасно...

Странное сомнение закралось вдруг в душу. Попробую объяснить в чем дело. Читаем, скажем, мы книги. Написаны они давно. Вот — Толстой, Апулей, Эврипид, Буниин, Чехов и пр. и пр.

А что если и половины мы не понимаем из того, что было написано? Что если смысл книг настолько искажен временем и нами, что читаем совершенно иные книги? Что если их смысл, наконец, переродился в какой-то своеобразный орнамент? Дивный, чарующий орнамент... И больше, все больше оказывается вокруг тебя прелестных дивных орнаментов. Чем же это кончится?

Б. П.
М. С.

А ведь получается так: покуда мы любим, мы еще кое-что стоим. Но если любовь исчезла, а это с каждым может случиться: сил не хватило, верить себе перестал, еще что-то... — считай пропало.

И вот еще что: о любви много говорят, но забывают, что никто не знает, где она начинается и где кончается. Скажем, я люблю кого-то, и это оберегает меня, ну, и того, кого я люблю. А потом вдруг оказывается, что не только нас двоих. Из нашей любви, я уверен, где-то в Китае или Швеции, возникает новая любовь, допустим, к земляным орехам или еще к чему-нибудь.

Выйдешь утром из дома, глянешь через плечо на дверь, увидишь царапину, которую видел миллионы раз, и даже не поймешь, что случилось. День будешь ходить и думать об

этой царашине. И это означает, что где-то в Голландии что-то произошло с твоей любовью.

В детстве я дня не мог прожить без "солдати́ков" — были такие алые жучки с траурным узором на спине. С утра выбирался к огромному пню, который остался после того, как рухнула в грозу ночью древняя липа, и глядел на них, возился с ними без конца.

Думаю, что та, кто лежит сейчас рядом со мной и уже почти уснула, свернувшись клубком, была в моем детстве этими "солдатиками".

Теперь жучков этих нет. Куда-то пропали. И не одни они. Майских жуков тоже нет... Говорят, что вся эта компания двинулась южнее.

Что может быть лучше тугих ледяных простыней в постели после жаркого утомительного дня: когда тело распрос-терто и находится в таком покое, что каждая его клетка, каждый волосок словно бы оттаивает, легко повт, а простыни источают прохладу; и вот сон, под стать ветерку, касается глаз, и они наполняются сухой пустотой.

Лучше не закрывать окно. В нем будут видны или небо, или дерево, листва которого шумит по-ночному, напоминая волны, набегавшие одна за другой.

Разве я не прав, Боря?

Хорошо быть живым.



Как ни покажется странным, всегда мы находим в сумятице своих полуразмышлений ^и отражений место для неизменной мысли о страдании.

Возможно, это место было всегда. Нет, пожалуй, ни одной религии, в которой отсутствовало бы понятие возмездия. Ледеящие кровь и душу частности не дают нам возможности остановиться на этом понятии, и редко кто воспринимает возмездие-страдание так же как совершенно отвлеченную и бесплотную форму Воздаяния. Немало художников и поэтов, создав впечатляющие полотна ада, не смогли вместе с тем более или менее сносно, не прибегая к помощи общих мест, очертить территорию рая. Признаться, заманчивым было бы в данном случае двинуться в выяснении к природе и воплощениям воздаяния и возмездия, но влекло другое: то, что можно назвать искушением страдания, зачастую таким же опасным и легким, как и прочие, хрестоматийные искушения - властью, богатством, славой.

Утомленное временем, что наслаивается в памяти словно соль - пласт за пластом, сознание человека настолько близко приняло и взрастило непреложность последовательности: боль - избавление - награда, что подошло к самому краю своих надежд. Не с энтузиазмом ли и радостью, не с жадностью ли стяжаем мы жетоны страдания, с тем чтобы потом сразу и целиком обменять их на внушительную сумму блаженства.

В итоге это приводит к тому, что взгляд перемещается от вещей и явлений как бы далеких к со-бытиям, касающимся человека непосредственно. Казалось бы, обращение к личному

опыту сейчас более чем когда насущно и необходимо, но тут-то и появляется искушение-легкость, предлагая наиболее "беспроблемный способ" бытия - боль.

Искушаемые простотой, мы выбираем ее (боль) как самое подлинное состояние, однако сам по себе этот процесс выбора и принятия страдания обращается в нечто обладающее своей определенной ценой, дьявольским наваждением, самостоятельной духовной ценностью, после чего мы остаемся со своей болью, вопреки тысячелетним стремлениям избавиться от нее.

"Всюду в мире смерть и нет убежища ни в одном из миров", - говорит Будда. Но что смерть! Избавление, или возмездие старания в абсолюте? Конечная и совершенная форма ее?

Вспоминав разговор за чаем между мной и другом:

- Ты боишься умереть?
- Нет.
- Чего же ты боишься?
- Быть мертвым.

Беседовать с самим собой тоже забавно. Но не привычка ли наша говорить - причиной тому? В последнее время обратил внимание, что очень много людей, идя по улицам, не молчат, хотя идут одни. Говорят, говорят, размахивая порой даже руками. О чем?

Малкими считают тех, кто пьет в одиночку, отпетыми. А как же те, кто, как я, пьют, "беседуют" сами с собой?

Александр Грин - явление совершенно особенное. Говорить о нем как о романтике, или психологе, или, тем более, мистике, дело совершенно неблагодарное, потому что, в сущности, он был ни тем, ни другим, ни третьим. Грин - беспрецедентное явление "примитивизма" в словесности.

И в самом деле стоит вспомнить полотна Руссо: тигры, джунгли, дамы, усатые артиллеристы, странные собаки, аэропланы и Африка, обретенная художником в пыльной кипе журналов. Но, видно, кроме достоверности, единственности - есть в том и другом нечто неуловимое - непроста ведь называл Гарсиа Лорка художника "ангелическим". Может быть и впрямь дело здесь в сомнамбулической покорности. А может быть, совершенно в другом...

Удивление и злость разбирает порой, когда слушаешь городских детей.

- Иди домой, - зовет бабушка.

- Неумели мне нельзя подышать свежим воздухом?!

Ему пять лет, а может быть меньше. Но какая разница между его ответом и ответом, скажем, слушающего, лет сорока с лишним? Никакой. И сколько таких примеров гладкой недетской речи. Впечатление такое, будто они уже рождатся, оснащенные ^м в меру вымороченными разговорами.

И я начинаю сомневаться: могут ли они обижаться, радоваться?

Еще чаще, когда ребенок четко улавливает то, что от него требуют. Так, восьмилетние пишут натюрморты, называя их "серебро на красном", говорят о Боге, одиночестве и т.д.

Но может быть все обстоит по-иному. И дети, эти самые хитрые, лукавые создания, таят про себя свое истинно Божественное косноязычие, а заемной речью ограждают себя до поры до времени? Вряд ли.

Удивительно, на что только не натыкаешься в словах, сколько их неожиданно проявляется в самих себе. Вот: слово "откровение". Что такое откровение?

Откров(ь)ение, кров(ь)ение от, истечение крови, самого существа нашей плоти, истечение плоти из плоти, обретение в бесплотности... чего обретение? Отговоримся словом-истина.

Возможно и так. Или же, как склонен считать Боря, это скорее связано с лишением крова. Но и в том и в другом случае речь идет о развоплощении, уничтожении Я, формы, имени - во имя того, что не нуждается ни в форме, ни в имени, ни в ограничении от других.

Нуждается ли дерево в откровении? Камень, собака, мотылек?

Не в этом ли сущность грехопадения, осознав себя, обратив взгляд на себя, постигнув свою форму, наделив себя именем, человек тотчас выпал из мироздания.

Но что же это за истина, которую обретает в откровении? И кто ее обретает?

Приснилось ночью, что посреди комнаты нас много и жжем книги. Они горят голубоватым огнем, окутаны сиянием лазурным, легким, в котором сквозит странное постоянство. Наши лица снизу тоже голубоваты. К глазам темнеет. Лица неподвижны. Но это обычное дело — когда смотришь на огонь, всегда застываешь, не оторваться... Жжем книги. Видно сияние на лицах, а остальное — стены, тени, окна, двери — только угадывается.

Стопы писем, тетрадей, книг...

Неведомая жизнь, которой так и не суждено открыться нам. Но ведь мы решили. Не так ли? Потому и спокойны.

Нагим пришел и нагим уйду.

Уйти в неведение.

Сидеть поздним вечером у лампы. На стеклах иней, тепло лампы щекой чувствуешь, а дым, слетающий с потрескивающей папиросы, спутанными нитями попадает в свет. Каким легким, голубым кажется, как долго тает он у самой лампы, дрожит, растекается в тень, становясь там тускло-серым, вялым, спутанным.

Слушаешь часы, следишь за однообразно-ломаной линией звука, бегущей сродни дыму — так трогательно тупо представило себе человечество время: хоть и нет начала, все же вера в начало сущего и времени живет... и течет время как бы откуда-то, куда-то.

Дым, словно песок жаркий - подрагивает, а глаза давно закрыты, и в стене что-то шуршит. И впрямь песок, но не время, а все остальное.

И тек этот песок полувоспоминаний, полуразмышлений - всегда. Всегда. И не только мои пальцы пропускали его, а тогда еще было... а когда - тогда? Выдернуть бы руки, да так тепло у лампы, так кружит голову дым, так прозрачно-холодно незрячи глаза, что и не вспомнить - что за песок... что за время... мороз? зима?

С каждым годом скучнее и скучнее жизнь, а сны все страшней и страшней. Никогда еще люди не видели так много бессмысленно-страшных снов.

Вчера выпал первый снег. Я проснулся и пошел на кухню выпить молока. Окно было приоткрыто, влажный холод окутал меня, и я, протянув руку к бутылке с молоком, увидел, как непрерывно падает снег. Пахло подмерзшим тополиным листом и тем особенным утренним воздухом, который бывает только в первые дни зимы. Я вспомнил маму, будившую меня рано утром, если ночью выпадал снег, словами: "Просыпайся, лентяй, уже все белым-бело..."

Вспомнил Саву, который сидел у окна в такие дни до вечера и курил, а я однажды с улицы смотрел на него, и снег нежной тяжестью оседал на волосах.

Воспоминания были легки, недолги, и не принесли ни

тревоги, ни покоя...

В молоте, когда я отхлебнул, уже похрустывали льдинки.

Вот такая игра... Возьмем немудреное сочетание слов: "он пошел по дороге"... И конца края, уверяю, не будет нашей забаве, этой фразе, трем короткими, простыми словам.

И все верно, все давно усвоено - тысячи восприятий, тысячи различнейших пониманий! Одни отдадут предпочтение, или предпочтение д о р о г е, другие начнут с действия, глагола "п о ш е л", третьи сосредоточатся на персоне.

За словом дорога у одного может возникнуть какие угодно вещные, конкретные представления: песок, пыль, обочина, трава, небо, стакан томатного сока, перочинный нож. Другой при этом рассматривать может иной, присущий лишь ему одному ряд явлений, скрытых как бы словом. Но, таким образом, мы не прочитали бы за свою жизнь и пяти слов! И если бы следуя Паскалю, я попытался бы определить бесконечность, то возможно первое, что пришло бы мне на ум - было бы следующее - бесконечность это молчание, центр которого, слово, находится повсюду; или бесконечность - это произнесение. Но, опять же, в таком случае, невозможен был бы язык, и наших лет не хватило бы на произнесении пяти слов...

Свидетельствует Коран, что не успело и капли пролиться из падающего кувшина, как Нагамет прожил вечность.

Каким же мы чудом за время падения капли проживаем вечность слова?

Чаще всего к истории относятся сейчас как к преступлению, которое во что бы то ни стало нужно расследовать. При этом само собой подразумевается объективность следствия, которой не устанут кичиться, забывая, что объективность эта состоятельна лишь в рамках определенного закона, в данном случае — закона нашего времени.

Чжан Свэ-Чан говорит: "Силы тьмы и света есть Дао. Задача словесности заключается или в описании событий или в разъяснении закона вещей".

А разве описание событий не есть разъяснение закона вещей?

Как можно радоваться тому, что художник создал полотно, поэт написал стихотворение?

Да, безусловно, это событие значительно, но в то же время очень печально.

Печально, вероятно, потому, что завершение любого творческого действия (если оно не ограничивается завершённой в себе игрой) есть ни что иное, как регистрация распада связей между человеком, художником и миром. И потому печально, сто все дальше, как бы в неведении уходит по бесконечным рядам подобий и повторений, утешая себя ложной простотой зеркала, заменившей подлинное видение Лица Бога.

И потому печально, что чем шире брешь, разрыв — чем самобытней, совершенней произведение, тем больше убивает от души его, тем дальше отступает творец от возможности самому что-либо увидеть. И потому печаль, потому страх.

В повести, "сюжет" которой сложился уже довольно давно, но которую не только не закончу, но и не начну, есть весьма странное и загадочное действующее лицо. Зовут его Джок. Старик, высок ростом, костляв, смугл от загара. Волосы его по старчески легки и заплетены в косу. Глаза всегда полуприкрыты набрякшими веками. Выражение высокомерия постоянно на его лице... Он в своей жизни пальцем о палец не ударил. Даже в детстве не смастерил бумажного кораблика.

Сколько времени прошло с той поры? Ни я, ни он, ни остальные не знаем. Зовут его еще герцог Кентерберийский.

Он — истый бродяга и наставник, защитник тех, кто делает первые шаги на стезе безделья и лени. Судя по всему, добр, много знает. Знает, где в мае самый горячий песок, где кладбищенский сторож пускает ночевать, где можно напроситься на выпивку.

Он спаситель и покровитель тех душ, что болотными огоньками мелькают в ночи. Говорят, за Смоленском, в часовне одной деревни висит его образ...

Я люблю его. После смерти отца я больше никого так не любил.

Как, в сущности, странно: оргазм лишен каких бы то ни было качеств, которыми мы привычно наделяем явления, переносится зачастую признаки одного на другое (метафора). Оргазм, обращаясь к конкретному кругу определений, не светел, ни темен, не радостен и не печален, он не возносит и не низвергает. Более того, он не добро и не зло.

В определенном смысле, оргазм — негативное, направленное от человека явление.

И как подобает всякой самодовлеющей сущности, этот "ноумен" окружен многочисленными кругами обрядов, начиная от экзотерического, социального ритуала, завершающегося браком, до эзотерических церемоний, имеющих целью проникнуть в сущность этого явления, изъять его из времени.

к замечания о Б.С. (Н.В.)

... и этого мне не дано знать. Почему? И я подумал, что не отыскать никак мне начало во всем, — во всяком случае начала моей жизни, этого невесомого комка паутины, пуха или чего-то еще, что так тихо проплывает в те дни, когда надежда на теплые солнечные дни, оставившая тебя накануне, вновь приходит, и в светлом воздухе проплывает паутина, касаясь неуловимым серебром своим, стекающие назад, за спину, ненужные листья. С порохом текут они, шершавы

они и привкус их лежит на губах. И помнят мои губы песок, и в горле, словно в утробе — несколько слов, и они подобны детям, не имеющим покуда ни будущего, ни прошлого, ни настоящего; ничего, ровным счетом, ничего в совершенной сфере горла, когда вкус песка, привкус отмирающих листьев сочится к губам отовсюду.

Произнесем еще раз — "и этого мне не дано знать", как в воду незамутненную опустимся, где Китая зыблется мерцающая, и косая тень твоя льнет на стогны утерянного в незапамятные времена убежища... и этого мне знать не дано.

А весной, когда я занимался тем, что вспоминал зиму, встретились мы случайно возле Кузнечного рынка.

В музее Достоевского собирались любители словесности. Кто-то должен был читать доклад, и кто-то ждал с нетерпением доклада, а на улице стоял солнечный полдень. И что мне до словесности, думал я, что мне до этого всего, когда низкое солнце вымораживало улицы до белизны! Какая странная болезнь — новая весна, еще весна, еще... Скучное тепло в закоулках лишь напоминало о том, что настанет лето: слышали — из года в год приходит оно. Непреложны законы движения планет. Распускаются деревья. Возвращается к нам тепло, явственней постушь и земля ясней под ногами. Но столь пустыня была белизна, столь пронзителен апрельский свет — Господним копьём мнился он мне — так лукавы тени, стлавшиеся за нами с хищным, неотступным, растительным терпением,

что смутно уже представлялось иное время!

Не будет лета. Ни осени, а мы, бесспорно обречены на чистилище северной весны. Да и весна разве? Скажем, просто некая пора года... пятое время года.

Сняли и таяли птицы в небе. Текли воды в каналах, но опять же: только знали, что течет она, слышали, а видели как стоит она, испепеляя ослабевшие за зиму зрачки.

Вспомним, что говорится о фотографии. И вспоминая, что где-то нарушилось равновесие тьмы и света (нарушенное равновесие, исчезновение света во тьме) вспоминая, что свет и не свет - вот соль и купец того, что называется фотографией, сравним два солнца: солнце севера и юга. Где различие, спрашивая я себя, глядя на слепки света и тьмы, на тонкие отливающие глянцем листья. В чем тут дело?

(сняты и таят птицы в небе, течет вода в каналах и ни шепота, ни шороха)

Время, говорю я себе, и, оборачиваясь к нему, фотографу, цепко схватившему стакан вина, а мы сидим у теплой стены, повторяю:

- Ну ответь, на милость, скажи мне - сколько еще стремиться Ахиллу за черепахой? Я, признаться, устал от этой погони. Сколько веков!..

Он кивает головой и ласково улыбается вину. В конце улицы чья-то фигурка. Фигурка колеблется, в глазах рябит

от нее.

Конечно, дело во времени! Дело в нем и ни в чем нем. Солнце вга, — продолжая, создает цвет, плоть, объем и цвет, лазурь и пурпур, тьму отчетливую и первосозданную. Но здесь... Текли воды в каналах... Но опять же — знали только, что текут, слышали, а видели воочию как стоят они, испепеля ослабевшие за зиму зрачки.

И лица, и дворы, и лица, как дворы, и дворы, как лица; и стены, и лестницы, и воды многие, и небеса, и трава на крыше — все есть и будет. И есть еще иное, когда слова не нужны...

"Возлюбленные в речах" — тогда вспоминаю я.

Но мы сидим уже в другом месте, в комнате, где два больших окна гудят от солнца, Парит пыль. Ишь, и в руке у него неизменный стакан вина.

— Ты слышал, — спрашиваю, — про Ыщика Мейера?

— Ха! — говорит он, — Конечно нет. А ты знаешь Сорочкина?

— Нет, — отвечаю я, — Но послушай. Говорят, когда Ыщика в детстве повели учиться к раббину, кто-то спросил его на улице: "Я дам тебе таллер, только скажи мне, где живет Бог? Мальчик ответил: "Я дам тебе два, только скажи, где его нет".

— Нормально, говорит он, — Но вот послушай, какая история случилась...

И опять кажется мне, что не будет конца полдню, теплу, вину и нашей жизни. И опять неуверенно и тихо, глядя в окна, думаю о своей жизни и о жизни многих, таинственным образом связанных с моей, шепчу губами: "...и этого мне знать не дано".

Недавно один из знакомы, преступив неожиданно границу ни к чему не обязывающих бесед, совершенно спокойно, будто передавая что-то услышанное и не представляющее особого интереса, сказал:

"Иногда я не знаю, как мне быть, как жить. Другие как-то худо-ладно это делают: трудятся, живут. Дни их исполнены заботами, любовью, детьми, раздражением, какими-то необходимыми вещами, радостями, печальми, а я не знаю, как мне быть. Нет, какая уж тут грусть! Куда уж там... Скорее всего ничто. Немелание. Ни труда, ни любви, ни детей, ни разных прелестных забот, искусства. Отвращение и только.

Потом, знаю, все, безусловно, станет на свои места. Как будто зуб перестанет ныть, и заметишь, в какой раз, что вон та женщина в светлом плаще посмотрела тебе в глаза, и не просто посмотрела... Будто очнешься и поспешишь увидеть, что длится удивительно мягкий серый сентябрь, а воздух содержит в себе тысячи тончайших запахов-воспоминаний, и эту прекрасную сеть колеблет влажный воздух разом с дубовыми листьями, подернутыми темным багрянцем. Застывшие псы у мерцающих стволов, туман, глубокие приглушенные голоса. Внезапно алым пятном скользнет автомобиль, опустится на плечо лист, и ты скосишь глаз, не останавливаясь. Проникнешься к этому листу не то чтобы любовью, но взглянешь на него как на спутника. А потом заметишь, что проходит немота, день облекается речью.

Но поверь, за всем этим, я все равно чувствую, и, мало того, знаю, привычно простирается отвращение. Сосет,

точит непрерывно. Год за годом, час за часом. И подчас, доведенный отчаянием до глупости, говоришь себе, как вот я сейчас тебе: Как не быть? Что делать. И, сцепив зубы, не произносишь имя Божье - гора. А потом, конечно, еще стыд, стыд.

Почти все утренние часы я провожу у окна. Холода наступили раньше обычного, так что и гулять не хочется.

Смотришь в окно и долго рассматриваешь пятнышки, царапинки на стекле.

Можно смотреть на крыши. На крыше соседнего дома часто виден голубятник. Он произвольно свистит и машет хвостом. Настоящие голуби, когда плавают белыми кругами в бледном, голубоватом небе, очень красивы.

А можно разглядывать свое отражение. Сегодня, к слову, заметил, что морщины, что тянутся от носа к углам рта, уже стали глубокими складками.

А бывает, что одновременно видишь и то, и другое, и третье. Эти минуты просто волшебные! Понемногу как бы растворяется и "то", и "другое" и "третье". Но что интересно: зрение непонятным образом крепнет, обретает разительную остроту, ясность. Оно будто созерцает себя. Сравнить это можно при желании с хорошим стихотворением. Думаю, что именно такие стихи писал Басе, и "господни бо". Жаль, что не знав языка ни того ни другого.

Когда я слышу что-нибудь о своих стихотворениях, мне становится неловко. Часто говорят, что я вот пишу свободным стихом, а это, хотя и несвойственно русской поэзии, но, впрочем, довольно интересно... Спрашивают, писал ли когда-нибудь я "в рифму". Качают головами, когда узнают, что никогда не писал, да и не умею, не знаю; а мне уже смешно становится: не умею... Умею, не умею. Вздор какой! Да если бы даже я писал в канонах, так называемой, регулярной поэзии, она точно так же настораживала, как настораживает нынешняя.

И понятно, что именно настораживает. Совершенно иные точки отсчета и ценности. Точнее сказать - мир, в котором обретаюсь я, отличается от их мира с самого начала, с абсолютного нуля - страха. Не страха перед чем-то, скажем, перед смертью; к смерти можно приуготовить себя, изжить страх, вернее боязнь, - со страха того, что пребывает как бы на той тонкой черте, где кончается человек, его власть, его вера (как бы универсальна она ни была), но где еще не началась область смерти. Это страх перед "ничто". Непостижимость такого состояния является несомненным, абсолютным нулем поэзии. Это зона той пустоты, где даже язык беспомощен и лишен своей магической силы и предстает в грозной стихии своего изначального космоязычия.

Если бы в городе существовал сейчас фольклор, то сумасшедший дом занял бы в нем одно из главных мест - как реализация "страха - перед - ничто".

Еще - исчезновения, как физическое, так и духовное в условиях абсолютной анонимности...

Ни то, ни другое не было важно там, где я находился долгое время юности, молодости.

Мы мало, слишком мало, до смешного мало, неправдоподобно мало думаем о смерти. Мы перестали говорить о ней в романах, мы не размышляем с ней в философских трудах, мы, кажется, вообще забыли ее, словно полоумнуну нищенку, не заслуживающую нашего внимания - на пороге "прекрасного и яростного мира". Как это плохо... И в первую очередь нам не прощает этого живое.

Сколько бы ни повторяли мы слово "любовь", оно останется мертвым, если мы забыли о смерти.

Не одну осень встречаю в Михайловском саду человека, устроившегося на скамье перед центральным газоном.

Воротник пальто его поднят, само пальто растегнуто, на ирригинистой прозрачной шее намотано темное кашемирное.

Возле него стоит старомодный чемоданчик, а у чемоданчика початая бутылка портвейна и стакан. Человек смотрит на туман, который медленно поднимается с мокрой желтоватой травы, наливает стакан, выпивает. Сверху иногда сыплется кора и сухие веточки - вороны возятся в кроне дерева. На аллеях можно угадать очертания женщин с колясками. И я вполне понимаю его очарование тишиной, вином, туманом.

Какое счастье встретить зимним вечером в доме, куда ты приглашен, хорошего собеседника! и, сидя недалеко от настольной лампы не слишком яркой и не слишком тусклой, слушать, как говорит он, смотреть, как меняется его лицо, как движутся руки и, как будто издалека, течет его речь, перемежающаяся молчанием.

Совершенно неудовик тот момент, когда понимаешь, что нужно говорить тебе, и подхватываешь почти уже истонченную нить: несколько интонаций, свет, упавший на какой-нибудь предмет - легко и незаметно, просто и ненавязчиво облекается словами и, словно в странной игре, отталкиваясь от того, что видишь, вращиваем мы древо разговора со множеством ветвей, старых сучьев, молодых побегов, увядших и только лишь распустившихся листьев... Разрастается дерево, и тень его - молчание - тоже растет, суля, как и водится, прохладу и тишину.

Никогда "проповедник" не будет собеседником. Слишком рьяно относится он к тому, что говорит, слишком недоверителен к слушающему, да и не вера того, кто слушает, нужна ему, а покорность понимающего.

Смешон и тот, кто яростно проповедует любовь. Вызывает, тем паче, презрение тот, кто без умолку твердит о молчании и тишине Господней...

Когда такие люди встречаются в доме, куда пришли вы выпить чай, или вина, а за порогом мороз, зима, то навряд ли у кого найдется мужество повернуться и уйти. Да и стоит ли уходить, если хозяева радушии, чай горяч, а вина вдоволь.

Докучливый говорун в таком случае так же призрачен, как ход часов, звук воды, капающей с крыши.

Вместину, Благодать Создателя осенила того, о ком после смерти, из рода в род, из времени во время, помнят, что питал особенную любовь он к камням, к деревьям, к цветам... "но больше любил солнце и огонь"...

Что скажут о нас? Да, видно, сказать можно все что угодно!

И все же поверим тому, что говорят о нем, маленьком брате из Ассиз:

"Своими глазами мы видели, как он подымал с земли кусок дерева и, держа его в левой руке на подобие виолы, правой водил тоненькой палочкой, точно смычком и, делая соответствующие движения, пел по-галльски о Боге..."

Уже давно и осень позади, а только ноябрь. Второй день валит снег. Влажный густой снегопад к ночи усиливается. Небо темно, низко, предметы едва различимы в сплошном белом потоке. Какая-то равнодушная бездумность во всем...

Встречаешь на улице знакомого:

- Вот и вы, - говоришь, - А мог бы пройти и не узнать - снег какой!

- Да, снег. Второй день уже, - соглашается знакомый и коротко глядит на небо. - И завтра будет, - говорит он, - Ну а вы как? Что нового?

- Все по-старому, - говоришь. - Все как было.

- Да, - кивает головой знакомый. - Это так. Может быть, переживем зиму, слабо улыбаясь произносит он. - А там и весна.

И видно по нему, что не совсем он уверен, что там, дальше весна, лето и что-то еще, или вообще что-то.

- Ну что ж... - говоришь. - Звоните. Вы правда звоните! - в голосе слышно фальшивое одушевление. - А то как-то так получается...

- Да что вы! Конечно, конечно... Вы когда бываете?

- Утром.

- Вот... - говорит знакомый.

И он и вы знаете, что никто никому не позвонит - ни утром, ни вечером. А если и случится такое, то и забудется.

А снег валит и валит.

Чем занимают нас сумасшедшие? Откуда тот пристальный, обостренный интерес, который мы питаем к ним? Почему не отвязно следим мы за ними на улицах, замолкаем, притихаем и смотрим, смотрим, а после рассказываем друг другу, какие они, что говорили? Чуть ли не с любовным пылом описываем их внешность, передаем слова, поступки...

Не та ли это исконно русская страсть к продам, придуркам, блаженным? Или же общечеловеческая тяга к тайне, притом к темной тайне (а бывает ли светлая?), к свободе, к той свободе, истоки которой нам недоступны, к свободе страшной и великой.

Знаем приблизительно для чего предназначена наша жизнь: утолять голод, избегать по мере возможности боли, тяготиться

или наслаждаться телом, спать и видеть во сне что-то удивительно напоминающее жизнь земную, знать о любви небесной, но иной раз не изведать любви земной... Но для чего они? Те, за которыми столь пристально наблюдаем, неотступно следим, тщетно стараясь узнать - что побудило их "отказаться" от жизни, которой живем мы. Зачем они так?

Ведь неспроста все это. Должен же быть им дан, взамен разума, некий высший и бесценный дар, перед которым все остальное тускнеет - потеряны человеком привычный облик, качества, которые привычно ставятся столь высоко: красота, легкость, сообразность, обыкновенность.

Выходит, что не нуждаются они в защите, в прибежище о б щ е г о. Выпали раз и навсегда из рода... Так можно думать, взирая вслед сумасшедшим, придуркам, идиотам, слушая их мычание, рев, боль. Но можно и не думать, а только ощущать, как теснит сердце, как спазма сводит горло, ибо чувствуем смутно тревогу и ощущаем скорбь, словно встречаем наяву то, что было так прекрасно в снах.

В доме кончился чай, кончились папиросы, кончилась бумага, сахар... Час очень поздний, около трех часов. Это ли не одиночество? Да, одиночество, но оно было и до того, как кончился чай, папиросы, бумага, сахар. Но тогда имелся целый ряд отвлечений - курить, пить чай, записывать, что на ум взбредет, а теперь одиночество обнажено и позволяет рассмотреть себя тщательно и беспристрастно. Ну что ж - одиночество так одиночество. Не хуже и не лучше. Но иногда думаешь: как милосерден Создатель, сотворивший человека после того как был сотворен мир, а не наоборот.

Сижу вечером в сторожке и слушаю "буддиста". Впрочем, никакой он не буддист, а пьяница, добрый малый, поднаторевший в "текстах" и исполненный чистого желания достичь покоя. Сторож, как и я.

- Для достижения Сатори, - говорит он громко, существует единственный путь... Однако у каждой школы есть своя практика, и недавно я пришел к тому, что практика секты Сото самая верная, поскольку она - самая традиционная. С самого начала, помните? - положите левую ступню на правое бедро, правую на левое и...

- А как же, - говорю я, - Как быть моему знакомому? У него ног нет. А? Хорошо еще, что он занят разными увлекательными делами, а если вздумалось бы ему вдруг ~~еще~~ ступить на Стезю?

Буддист обижается и замолкает. Молчит, курит и смотрит в окно. Окно темное и глухое. Спустя время пытаемся опять завести беседу, но настроение пропало. Конечно, виноват я.

В час ночи буддист уходит на свой пост, а вместо него появляется его напарник, едва ворочающий от выпитого языком. Он сообщает, что в прошлое дежурство буддист напился до одури и упал с лодки, но собаки (а их у него целых пять и самых немислимых пород) вытащили его из воды. "Теперь простудится" - убежденно говорит напарник и засыпает сидя за столом. Я выхожу на воздух.

И правда, простудиться в эту пору легко. Вода еще не остыла, но угадывается в ней осенний промигающий холод. В старину сезон купания всегда завершался праздником Яблочного Спаса, а теперь купаются круглый год. Многие находят удовольствие купаться и в морозы.

Я был причастен. И потому во снегом разделил участь других. Уходя безвозвратно, эти годы уносят в прошлое и часть меня, превращая меня в некое незавершенное воспоминание.

В те далекие шестидесятые годы, к которым и относится моя юность, многие из моих друзей, я сам — каждую весну исчезали в Крыму. Там проводили мы лето, дожидались осени, а потом дожидались зимы, а кто-то и до весны оставался. Мы добывали пропитание весело и нахально, очаровывая слезообразных буфетчиц, вышибая слезы у хриплоголосых официанток, мы лгали застенчивым девушкам, воспитательницам пионерских лагерей, воровали в столовых творок и торговали романами. Ночевали мы повсюду. Крым был нашей Мексикой, куда неслись мы постигать тончайшее искусство безделья, свободы и неприкаянности.

В одну из тех ночей, когда вялыми рыбами пробирались мы по набережной Алушты, я встретил Майору. Ей как и мне в ту пору не исполнилось девятнадцати. Даже ночью я разглядел, насколько она худа. Майор брела по обочине с кожаной сумкой. Я заговорил с ней, а к утру мы снали на пляже и ее сумка лежала у нас под головами.

У нее были разительно длинные пальцы, худые чудесные запястья. Потом мы каждую ночь воровали персики из лотков — она свободно продевала руку в решетку лотков и по одному вытаскивала плоды, передавая их мне. Вначале мы обедались персиками, позже лениво продавали на рынке. Продавали мы их очень дешево.

А Розанов, в сущности, был довольно сентиментален, как, впрочем, и Гоголь, которого он явно не любил. И тот и другой — провинциалы в столице. Отсюда и озлобление. Эмигранты, одним словом, не больше; но тот, дрезний, и в самом деле боялся вернуться, была у него своя тайна, свой страх перед теми местами, где жил, наделившими его лишними и ненужными знаниями. А этот, недавний, все рядился в одежды шута, веря наивно в силу двусмысленного и в свободу (тоже достаточно двусмысленную), которой испокон веков дарили шуты при дворах монархов... Вонстяну, бесстрашный внец на трапезии.

Интересно: к концу жизни почти все шуты становятся сентиментальны.

Набивший оскомину штамп: визжащий, размалеванный шут, а в глазах непременно затаилась печаль.

Молитва, скорее всего, не действие, а состояние. Я думаю об этом потому, что когда-то мой знакомый заметил: "Одиночество? Мы говорим об одиночестве, сетуем на одиночество, боимся одиночества, не представляя себе, что оно — это наше неумение или нежелание слушать.

Вот и молитва, думаю, — не заявление себя и собственной любви, а, напротив, готовность принять любовь другого.

Никогда творчество не было и не будет молитвой.

И не следует думать, что твоя молитва лучше молитвы другого, даже если другой не произнес ни единого слова, даже если другой о Боге не помышляет, даже если другого нет вовсе.

С недоумением взираешь окрест весной... И правда, зачем все это? Больно уж навязчиво, скоротечно, даже жутко. А что хранит наша память о прошлых годах? Тоже была зима, и, пожалуй, нет никого, кто бы ни думал втайне, что такой трудной зими он еще не знал; и потом снова весна...

Что помним мы о весне? Что появились надежды, появились неведомо откуда, и укрепились в сердце верой в то, что сбудутся они непременно, и каждая из них кружила голову, томилась... но кто ответит теперь, что за надежды наполнили его в ту весеннюю пору?

Впрочем, какая уж тут весна! Лето началось. По утрам смотришь на небо, лежа на полу. Оно неизмеримо далеко.

Вероятно, чувство, которое испытываешь в те несколько минут, что предшествуют полному пробуждению, можно назвать радостью. Она почти неощутима, под стать небу. Прикосновения ее — словно предвестие еще более полного чувства, которое неизбежно, мнится, вот-вот, не сегодня-завтра овладеет тобой. Не захлестнет, а войдет в тебя, чтобы больше не покидать. Радость, восторг полноты, когда во всем без исключения промысл любви, согласия, Бога... Восторг? Да. Несколько минут перехода ото сна к яви. Синий, огненно-бледный Элемент небес,

месяц Май, нежная гарь тополей у крыльца, холодный душистый воздух - все предвещает тебе и мне, все пророчит счастье.

Тогда вскакиваешь с полу (сколько же мне лет?), кипя-
тишь чай. Первая чашка, вторая... Холод, озноб от открытого
окна, влажный дух зелени, в глазах отчетливость, ясность.

Только знаток может распознать, с каких цветов собран
тот или иной мед. Со временем меньше цветов, меньше меда,
меньше знатоков - как-то пропадает надобность отличать один
мед от другого.

Но в голову приходит иное: отсутствие цветов с лихвой
возмещается пластиассовыми цветами, а настоящий мед - искус-
ственным. Затем все развивается как во сне: исчезают цветы,
исчезает подлинный мед, исчезают люди, понимавшие в этом
толк, а вместо этого возникает убежденность в необходимости
"различать" сорта искусственного меда, т.е. возникает пот-
ребность отыскивать и выявлять подлинное в уже заведомо
фальшивом.

Наваждение, не так ли?

Но куда ни глянь - повсюду так.

Для того, чтобы существовала семья, необходимо многое и в первую очередь осознание ее настоящего-прошлого-будущего.

Этому осознанию помогает д с м, принадлежавший ранее родителям, дедам, и т.д. Он является одновременно и прошлым и будущим (для детей) и настоящим для их родителей.

Сейчас семья - явление наполовину искусственное, результат инерции. В историческом плане люди утрачивают прошлое, заменяя его грудой исторических романов, и потому "прошлое, будущее и настоящее" стали просто отвлеченными понятиями.

Может быть в этом следует искать причины таких явлений как сексуальная революция - исполненную скорбным отчаянием попытку возвести в ранг духовной ценности биологическую необходимость, прельщаясь ее извечностью. Мы всегда верили в перпетум мобиле, в странную убогую идею - во что претворилась великая языческая мечта о бессмертии. Однако человек настолько испорчен, что даже стать животным ему не под силу, и остается ему ходить куда не приходя, не с чем не расставаясь. Скука...

Есть такие дни и ночи, о которых говоришь себе: надо запомнить их, надо во что бы то ни стало их запомнить. Может быть, потом я что-нибудь пойму из того, что случилось в этот день или ночь, но пока надо просто их запомнить. Запомнить те часы, которые тебе выпадают - все вдруг обретает покой, ничто ничему не мешает, все неизъяснимо чисто

и понятно. С другой стороны, и понимать вроде нечего...

Тепло, пустынно, восходит солнце, дома — внизу, у тротуара — темнее, нежели ~~вверху~~ **вверху**. В небе колышется розоватое бесплотное высокое перо.

И знаешь, что скоро наступит день, и покой, окружающий тебя, в мновение ока рассеется, пропадет очарование собственного тела, которое ты ведешь в пространстве (именно в пространстве).

Урок свободы получаем мы в эти часы, умный ненавязчивый урок. И снова, как когда-то, чувство уединения и чистоты. Бношеское, гордое... Нет тягости.

Дед мой Савва был высок, тощ (штаны подпоясывал на бедрах) необычайно крепок. Сам помню, как носил он в Эмеринке на чердак по два мешка, каждый пудов по пять. Не было профессии, которой не знал бы он по своим временам — печи класть, крыши стелить, стены выводить и т.д.

Голову постоянно стриг наголо. При мне голова уже серебрилась. Года три назад несколько раз вспомнил его голову, и мучительная нежность к нему до сих пор не оставляет меня. Голоса не помню. Дед Савва безмолвен в моих воспоминаниях. Помню только эту серебристую голову, да усы, пожелтевшие от постоянного курения.

Рассказывают, что был он человек со странностями. Теперь понимаю, что была значит, у него своя жизнь, которую он не то, чтобы тайл и скрывал, но не желал делиться ею.

Говорят также, что был тяжелого характера, порой невыносимым становился для окружающих — много их было в большом доме — в ярости иногда выбрасывал образа на снег, топтал их, и никто слова не говорил, боялись. Потом собирал, вносил, угрюмо и сухо молился и зашивал надолго.

Сам я помню другое. Что тихо в войлочных тапочках ходил он по комнатам, таская желтую жестяную коробку с табаком, дружил с отцом моим, перечитал в последние годы все книги, какие только были в шкафах.

Повесился летом. И с каждым годом я все чаще вспоминаю о нем...

Молодость моя прошла. Говорю это без сожаления. Если разобраться, то и жалеть нечего... Скорее всего, говорю с удивлением. И впрямь: не удивительно ли, что я, Н.Н. в далекую пору, как и каждый, наверное, думал, что не покинет меня вера в то, что обязательно откроется в будущем, станет божественно-чудесным смыслом всей дальнейшей жизни.

Боек только, теперь все поменяется местами, и в прошлом буду искать приметы того, что могло бы сделать меня неизреченно счастливым. И чем меньше будет оставаться дней, тем необъятней, безмерней будет представляться прожитое, сродни тому, как некогда великим и бесконечным мнилось ~~было~~ ^{жизнью}

грядущее.

И ночи теперь длинее, и ночи теперь — просто ночи.

И ночи теперь длинее и ночи теперь просто ночи.

В одну из таких ночей я рассказал себе сон — от распахнутых дверей двигался я вдоль столов, застеленных белым. Ледяная атласная вязь струилась по матовой белизне скатертей. Высокие потолки уже как бы парили в сиреневых сумерках. Створы высокого окна поскрипывали, и лил за окном дождь, метало ветром ветви, на неровном подоконнике образовалась лужа, в которой покачивался узкий ясеневый лист. И там же, у окна стоял человек, походивший на меня как две капли воды. И шел вдоль столов, уставленных полугасшим стеклом бокалов, кувшинов, в которых ройлось сухое золото свеч, и шел я долго, скользя взором по стенам, краем глаза наблюдая как шипя скользит подле меня странная холодная ткань.

И шла, — так продолжал я, потому что в некий миг я понял, что стал женщиной. И я шла к окну, где, напоминая кого-то стоял чужой человек и в одном из стекол его очков остро и выпукло изгибались белые столы... и были даже видны какие-то водянистые цветы. Дождь хлестал по подоконнику. Мое кимоно плескалось на плечах и по полу глухо стучали гэта.

Два знакомых попадают в обстоятельства, при которых становятся единственными свидетелями смерти человека. Расставшись, они в дальнейшем избегают встреч, а если случается им видеть друг друга, то испытывают неловкость, не знают, о чем говорить, и чувствуют большое облегчение, когда, наконец, могут разойтись.

Может ли такое быть? И да и нет. Вероятней всего они бы часто и с удовольствием говорили бы о случившемся. Особую остроту разговорам придавало бы то, что они были только свидетелями, а не виновниками смерти. Не имели к ней ни малейшего отношения.

Случившееся долго бы наполнило их не то удовлетворением, не то облегчением... Еще им казалось бы, что волей случая им довелось чего-то избежать.

Так ли это?

Было наводнение. Какого-то числа. Автобусы подолгу стояли на Съездовской линии, затопленные по верх колес. На набережной, куда я пришел гораздо позднее, стояли громадные лужи. Университетскую почту залило...

Ветрено было к полудню и пасмурно-светло. Люди косо струились над зеркальными тротуарами. Никого из знакомых в тот день я не встретил.

А спустя день, два я получил письмо. Написала одна моя старая знакомая. Могла написать кому угодно, а получил я.

Читал его в автобусе поздним вечером. Сизый свет пеленой покрыл стекла. Золотистый размытый огонь не уходил из окна. Я очень хорошо помню, что там было написано, но вспоминая письмо, вспоминаю, что когда читал в автобусе и слова дрожали перед глазами — ощущал, тщательно таящееся в словах и в бесстрастной интонации, смятении. И смятение не того, кто писал, а смятение от того, что листок бумаги был п о с л а н и е м.

Послание? Нет. Это было полупризнанием в уже полюбви к прошедшему, чьим соучастником был и я. Растеряно перебирал в памяти я поступки, слова, целые дни, месяцы, года и не оставляла меня мысль, что это не ушло (о чем думал, читая письмо у сырого окна), не моя жизнь, а жизнь другая, скрытая за каждым моим днем, за каждым словом и жестом; и что навсегда забыто даже не явившееся, чему не бывать уже. Полупризнание, которое когда-то тоже должно было быть признанием, но которого так никто и не услышал...

День наводнения...Странно.

- Самоубийство? Зачем об этом! - воскликнул человек с усами, перекладывая из руки в руку сетку, откуда торчала пачка с пельменями.

- Да ведь это так просто! Во-первых: лень. Во-вторых, согласитесь, бессмысленно. Затем подумайте о тех неприятных хлопотах, которые вы преподнесете своим близким. Кто-то же должен ходить по присутственным местам, торговаться с могильщиками, заказывать плиту, ограду и т.д. А чего стоит первый

день! Освидетельствование, расспросы и прочие процедуры. Согласился бы преподнести такой букет своей маме или жене? А? Я лично нет. Слишком подробно я знаю первую неделю своей загробной жизни.

Но и это не самое главное, — хочется добавить мне, — И лень и заботы и дразги. Но вот стать трупом... По своей воле стать опять беззащитным, всецело зависящим какое-то время от людей, стать совершенно нагим, безмолвным, когда не поднять руки и не отвести от лица своего оскорбления, когда остается лежать увенчанным венцом абсолютного безобразия — кто, спрашивая, не в памяти своей, а наяву признает во мне брата или возлюбленного!

Я сидел долго. Я не то, чтобы не шевелился, но как-то оцепенел, бездумно наблюдая, как проплывают, меняют формы слова, запахи, лица, увиденные за час до этого на улице и здесь... Но я не произносил ни слова. Все, что проплывало, мерцая, не нуждалось в названии, в определении, но, тем ни менее, мне казалось, что я говорил, и что сказано было немало. Я будто пролегал напряженной тонкой линией между двумя точками и при этом молчал. Молчал? Нет, нет! Но я не сказал ни слова, потому что не хотел, чтобы было что-то названо, определено, порабощено. Мне нравилось так. Мне нравилось, что меня не замечают и живут так как должно им жить.

Иногда я вспоминал себя. Иногда нет. Вообще-то — все написанное сейчас не заслуживает внимания, если бы не одно: это происходило, было. А если было, то повторится. Пускай, скажу, пускай повторяется.

Хорошо. Ладно... Было, будет. Я поднимаюсь со стула, а сижу я на чужом, ситом из темного дерева, стуле; я поднимаюсь со стула, а у меня такого стула не было - выходит это не мой стул - я в гостях. Взгляд мой останавливается на окне. Что же в окне? Что там происходит? Ничего. Низкое небо, холод, розовый предвечерний свет. Нет, ничего не происходит там, в окне. Должно происходить здесь.

Висят на стенах картины. Картины хорошие, плохие. Они, очевидно, уже произошли. Ходят люди, толкутся, сходятся, расходятся. Я вспоминаю, что долгое время сидел и молчал. Никто не смотрит в окно. Окно глядит в комнату. И я тоже отворачиваюсь, потому что там пусто, студено-ветрено, и наступает вечер. Розовый свет...

Известно, как трудно человеку в начале жизни обойтись без наставника, пусть наполовину придуманного, наполовину существующего, чья личность как бы вбирает и формирует твои расплывчатые смутные, зачастую невразумительные чаяния, мечты, замыслы. Конечно, со временем придуманное в наставнике исчезает, кажется наивным, ложным, а та половина, что остается существовать независимо от тебя обрекается на равнодушное недоумение. Означает это, по-видимому одно- окончание ученичества.

Однако сколько первой, и, как знать, возможно, самой искренней любви отдано в ту пору этим полуфантамам!

Так начинал и я. И если что и помогало избежать обязательных в таких случаях: смятения, гордыни, чувства исключительности, порождающих то ложное страдание, в котором, как в мертвом море блуждают и тонут большинство — так это вторая моя жизнь, существовавшая сама по себе, протекавшая вначале в доме, среди родных, жизнь, неведомым и по сию пору образом, сопряженная со многими вещами, а лучше не жизнь, а с в я з ь. А тогда нет конца ученичеству, и нет, и не будет разлуки. Так и суждено ходить в вечных учениках этого мира...

Когда мы вошли, доктор Альберт Швейцер был мертв.

— Он такой с тех самых пор, как кончились зимние дожди, — объяснил нам седой негр с трубках в зубах, испещренных магическим узором.

Негр сутулился, шаркая по полу толстыми ногами. Запах табака показался мне на удивление знакомым. "Клянусь, — пробормотал я. — Это же Клан. Н-да... доктор у нас не дурак..."

Швейцер сидел за органом. Он будто задумался. Конечно, это он, Альберт! Сомнений быть не могло. Ведь это ему звон колокола не дал убить из рогатки птичку!

— Как в жизни, — восхищенно шепнул я приятелю на ухо.

Доктор, вероятно, услышал, потому как ласковая улыбка осветила его глубокие морщины. Он кивнул головой и пожевав губами, сказал:

- Я ехал в третьем классе. И почему? А потому, что четвертого уже нет. Да-а-а-вно нет... -вздыхнул он и принялся нажимать клавиши цвета слоновой кости. Из-под пальцев полилась небесная, божественная, дивная, музыка И.С.Баха. Мы стали думать о бренности, о Боге, а приятель неожиданно спросил меня, толкая локтем в бок:

- Он что, музыкант?

- Еще какой! - вырвалось у меня. - Таких, брат, свет не видывал. К тому же он дядя Сартра, писатель, преклоняется перед жизнью...

- Да, да, понятно, - закивал головой приятель, - Ясно. Он гуманист. Вот почему, он как в жизни.

- Нет, дело не в этом. Он верит.

- Ну да! - согласился приятель. - Вера это конец света!

- Благодарю. - тонко улыбнулся доктор, и обернувшись в сторону толстоногого негра, сказал:

- Фред, милый, налейте путникам рома.

- Сигарету? - осведомился мой приятель, протягивая доктору пачку. - Пэлл Мэлл!

- Предпочитаю сигару... Хм... Знаете, после медитации нет ничего приятней доброй старой "Короны".

А музыка лилась из-под его мертвых, но таких живых пальцев, унося нас в высокий мир прекрасного, где играют на всевозможных инструментах и преклоняются перед жизнью.

- Слушай, давай преклоним колени, - заметил мой приятель, - И свалим отсюда. Меня подташнивает. По-моему, он слишком долго... для своего положения находится за органом.

Мы преклонили колени со стаканами в руках, на дне которых лежал ром, напоминавший лак для ногтей, и быстренько распрощались.

Напоследок мой приятель ухитрился стащить стоявший у стены на этажерке портрет Солженицына. Прекрасный портрет! Редкий. Писатель, в латах римского легионера, прищурив левый глаз, смотрит на Везувий.

До вечера было рукой подать, и надо было спешить, чтобы не столкнуться с духом Поммо, который по последним сведениям бродил в этих краях с десяти вечера до утра, размахивая своей глупой змеей.

Признаться, мы не особенно верили в дух Поммо... надо полагать, что никакого духа и в помине не было, а бродил, возможно, в это зловещее время какой-нибудь приятель доктора, а то и сам доктор, собственной персоной.

Вы себе представить не можете — какая скука в этой Африке! Пыль, животный мир, войны, работоторговля... Немудрено, разумеется, придумать какую-нибудь шалость...

И точно так же как П. Валери пытался развить в себе "чувство или интуитивную идею Европы", точно так же я пытаюсь развить в себе идею провинции.

Непосильным даром наделил Господь нашу душу — память. Сколь часто изнемогаем мы под бременем ее, впадаем в отчаяние от невозможности забыть то, что не дает, не дает покоя. Может быть, это и есть ад — когда не забыть?..

Однако не только боль, но и печаль, не только страдание, но и радость несет мне способность помнить. Раздвигает неуклонно она мир, в котором длится наша жизнь, до пределов, за которыми уже не быть ни прошлому, ни настоящему, ни будущему.

Не памяти ли обязан я тем, что вижу воочию то, что бесполезно для разума, то, что ненужно нынешним моим дням? Клочек двора, заросший выгоревшим подорожником, окно, запотевшее от утренней прохлады. Солнечные ^скрановатые тени под веками, бегущие косо куда-то вниз, а дальше вовсе что-то никогда будто мной и не виденное — голубоватая от солнцепека степь, поезд, стоящий на станции, вернее на подъездах к ней, спущие люди, а у самой щеки широкая щель в стене товарного вагона, откуда смотрю и на степь, и людей, и дрожащий в солнечном туманном мареве далекий виадук.

Разве нельзя сказать, что это происходит сейчас? Разве нельзя сказать, что теперь, когда вижу то или иное, я непременно соотношу увиденное с тем, что так прочно занимает место в памяти? Не занят ли я живя воспоминанием своей жизни?

Это и то... И между тем и этим нахожусь я. Зачем нахожусь? Чтобы мной был целостен мир, чтобы мной был бессмертен?

Бессмертия мне не надобно. О нем и думать лень...

Как-то вечером стоял на углу, раздумывая, куда бы пойти, и пошел бы, наверное, если бы вдруг мимо меня не прошла женщина. Она всхлипывала, размахивала горячей сигаретой, из глаз ее текли слезы, по щекам легли извилистые черные ручейки туши.

Только собрался я подумать о женщине, которая прошла мимо меня рыдая, размахивая зажженной сигаретой, как прошел мужчина средних лет. Мужчина бормотал: "зачем... зачем так, ну зачем! подумать только...какая ерунда..."

Прошло не многим более секунд тридцати, как мимо меня прошел еще один человек, яростно цедивший сквозь зубы: "пьяная дрянь...кретин, шлюха..."

И это не было концом. С блаженной улыбкой Будды на мучнообразном лице, со ртом восторженно открытым, слюной исходящим, в шапке, завязанной под подбородком, прошел мимо меня, возвеселивший сердце свое, идиот. Лет ему было около двадцати с лишним. Но кто ведает их возраст?

Пуская пузыри, переставляя с силой свои глухие ноги, он тонко смеялся, почти волоча на согнутой руке худенькую старушку.

"Хорошенькая компания" - подумал я и заплакал.

Читаю: "перестанем сетовать на безобразие и бесформенность. Только от нас зависит преобразование ее в стройный и чудесный миг наивысшей полноты, о которой мучительно мечтаем, листая страницы книг, следя за голосом бегущим в привычных значках, следа которого и не сыскать; вчитываясь

в жизнеописания тех, прах которых не только растворился в земле, но и деяния чьи, речения невразумительны уже для нас, не понятны."

Легко, гораздо легче, - в который раз думаю я, - найти свой удел, обрести имя в истории человечества, соотнося свою жизнь с тем, что кажется непреложным последовательным движением. Тогда и возникают слова: наследие, преемственность. Но труднее во сто крат искать себя в своей собственной истории. Не только смерть, но и рождение темно, и лишь самим собой возможно осветить эти времена. Темно и дико все, что лежит между рождением и смертью. И каждый признак, каждое лицо, каждая частность является впервые, чтобы согнуть и вновь явиться.

Действительно, не полагаясь уже полностью на предшествующий опыт, не прибегая к нему, но избавляясь из года в год от него, опыта; обретаясь в мире явлений - оборотней - невозможно увидеть истоки одной единственной "истории" (назовем ее старым и удобным словом - судьба), не отступает угроза самому стать оборотнем, утешуть в бесформенности бесконечного множества превращений, оценок, точек зрения. Так кажется... Но если отыщется в этой крошечной путанице подлинность хоть одной единственной мелочи, будь то осколок стекла, хрустнувший под ногой, глоток чая, подавание, если постигнешь неизменность и избранность этой мелочи - легко и просто сделать шаг в сторону, и увидеть, как постоянна и прекрасна история тебя самого.

Пристало разве нам говорить об усталости? Просто и вдохновенно живем мы, называя это тем, а то этим, не имея ни того, ни другого.

Потом мы сидели на кухне. Время было не позднее, но то ли от вялого света, то ли от какой-то усталости, которая охватывает всегда неожиданно, цепко; да еще эта тридцатисвечевая лампа под самым потолком, кран, из которого беспрестанно капала вода в разбитую раковину, синяя масляная краска стен, среди которых сидели мы, вдоволь наговорившись о поэзии ЦИ, мировом древе, природе бесов, ценах на вина; едва успевшие из последних сил довести рассуждение до конца... сидели молча и слушали, как падает вода из крана в разбитую раковину, зиявшую металлическими язвами, думая, быть может, приподнято-бессмысленно о том, что воде пристало падать не из отравленного медного крана в неживую бездну труб, а литься на камень, изменять его, менять свой вкус от того, на какой камень льется она. Литься на камень, на песок. И лампа в тридцать ватт освещала воды, пески, водоросли, прибрежные кустарники, заброшенные дороги, известняки, гранит в розово-сиреневых пятнах лишайника.. И путалось все - север и юг. Те, кто ушел от нас на юге, встречал нас на севере. Те, кто покинул нас на севере, обнимал нас по ночам на юге. И все проростало одно из другого, следовало одно за другим - на древе смерти сквозь скорлупу плодов светились младенцы; дети торжествующе вдавливали черные пятки в глаза старух, а за нашими спи-

нами переживались тяжкие крылья.

Крыла кухонного света висели за плечами, и масляная краска клеим текла в глаза. И мы сидели, пока не сказали следующего:

Он - Мы говорили о Боге. Мы размышляли об очаровании вещей и мировом древе, о прошлом и о младенцах в корзинах, плывущих по яростным водам. Теперь настал час сказать о себе. Мы живем в коммунальных квартирах, в одной комнате, даже если и живем в отдельных квартирах, отгороженных стенами... А кому не нравится то, о чем я говорю, тот пусть проваливается... Для меня это важно, потому что живу я. Неужто это не важно - что жена стала для меня огромным лицом, с которым я говорю, которое я горько и странно люблю, которое знав до последнего угла, которое, может быть, для меня самое прекрасное лицо, но только лицо. Но где ее тело? Где моя возлюбленная? Где вообще женщины? Лицо мне не ответит. Теперь, где мой сын, который должен идти ко мне навстречу, чтобы вложить с торжеством в глазницы мои по черному пятаку? Вместо этого он прилепился ракушкой ко мне, умирая от запаха моего пота, теряя слух от скрипа моих костей, забывая все больше меня, теряя меня из вида. И ни слова о любви!

Не любовь дарует нам свободу, а свобода приносит нам любовь. И не нищета (нищета всего лишь причудливый плач свободы), а моя жизнь - заключение. Пожизненное, в одной комнате, городе, государстве. Так моя страна, млея от воледеления, сжимает меня в объятиях. Так моя страна дарует меня своей любовью. Я констатирую факт. Не больше. А потому мы сейчас поднимаемся и поспешим в ближайший гастроном. До

девяти осталось пятнадцать минут.

Потом говорил я, но это уже совершенно другая история.

Снег и не красив и не безобразен. Он снег и ничего больше. В некоторых отношениях он напоминает воду и песок.

Все зависит от соотношения с разными предметами и вещами, окружающими нас. Привлекает снег, упавший на еще зеленые, подернутые прозрачной пленкой воска листья. Когда не торопиться, услышишь тончайшие шорохи. Это в безветрие, под тяжестью снега обламывается лист и долго падает, задевая другие листья, ветви, скользя по стволу, а падение его вызывает ощущение сухой грусти и почему-то гордости.

В сумерках снег совершенно другой, а ночью, когда летит в окне, томишься — свет фонарей, неслышимые потоки белизны, ниспадающие из густой темени, не дают ни на чем сосредоточиться. Не слышно шагов под окнами, разговоры, обрывки слов долетают, словно издали: исподволь, неприметно снег уведит из привычного, заливая все новым первозданным светом.

Не понять снега, воды, песка. Эти явления суть "Знаки Господни", которые "ставит Он на нашем пути".

Есть другие дни. Пылающим льдом висит прозрачное солнце, стелются дымы над крышами, мороз и день, но не чудесный, а страшный, а в горле тупая боль.

Сфинкс — ни что иное как демон неразрешимости. Важно не содержание всем известного вопроса, а само вопрошение, провокация. Как бы ни был конкретен и прост любой вопрос, исходящий от смертного, он, вопрос, звучащий из уст божества может быть понятен только как напоминание, как угроза, но угроза не частная, а исходящая из порядка вещей.

Ответ Эдипа вызвал улыбку у демона, а миг спустя демона не стало. Не будем останавливаться на иронии Сфинкса. Обратимся к Эдипу. Его ответ важен не как частное решение проблемы, но с точки зрения более общей. Отвечая, Эдип дерзнул противопоставить Неразрешимости свой человеческий разум. Последствия известны. И потому, считая сегодня, что самым верным ответом Сфинксу было бы отсутствие какого бы то ни было ответа.

К замечаниям о В.К.

Помню, как из десятка разрезанных клочков, на которых в беспорядке были разбросаны слова, хотелось выстроить, по крайней мере, для себя стройные ряды доказательств одного единственного факта — поэзии В.К.

Не будем говорить о том, что поэзия не нуждается в доказательстве. Любое уяснение является длительным доказательством, подчас незаметно протекающим, подлинности или ложности того, либо иного явления. И определени, облечение его в одежды это долгий путь уподобления — это как ребенок

вначале одевает куклу, а затем разбивает ее вдребезги.

Я метался в поисках аналогий. С этого начинают все. Я перебирал, просеивая сотни названий, которые накопились в чуланах литературоведения, я знал — стоит мне **н а з в а т ь**, как я тотчас с радостью и легкостью откажусь от этого определения, но дальше возникнет все остальное, то, что мнится обещанной ясностью. И так однажды, когда в дни нашей с ним наибольшей близости, когда ни он, ни я — он в силу ряда обстоятельств, а я не изменяя самому себе — были одни, ответ на мучивший меня вопрос пришел сам собой. Ведь это необычайно легко — протянуть руку и взять то, что века покоится на полке, в стене, в памяти. Я протянул руку и наткнулся на восковые, израненные, сочащиеся сладчайшей кровью персоны Иеронимуса Босха.

Не барокко, в котором металл притворяется деревом и стеблем и его плоды, не знавшие тлена и попла текут лавой на глаза, затягивая их пеленой монотонности, а Босх.

Вот откуда возьмешь слово мистерии. Теперь я слышу как по всем углам говорят те, кому не лень говорить, что Сад Земных Наслаждений дает единственное представление о поэзии В.К.

Ну что ж... Они одели куклу. Теперь ее можно укладывать спать, кормит с ложечки и петь колыбельные песни. Но мы пойдем дальше, не останавливаясь на тщательно укрываемой иронии (а как известно, или мне кажется — средневековью не присуще мироощущение как ирония) в полотнах И.Б., равно как в стихах В.К. Мы пройдем через сад изощреннейшей

чувственности, пойдём по кругам уничтожения плоти, чтобы...
еще с большей изощренностью и холодностью начинать сызнова.
Это чем-то напоминает мне часы, на которых всегда "сейчас".

Где-то в структуре с-я В.К. сознательно или неосознанно
выпущено звено целесообразности, полного завершения.
И почему бы мне не спросить: не связано ли это некоторым
образом с иронией, сквозящей в текстах?)

В разговорах все по-иному... В разговорах поэты и ху-
дожники лгут больше чем когда бы то ни было. Особенно в
разговорах о себе.

Мы тоже разговаривали. Удивительно, как легко мы сог-
лашались друг с другом. Конечно, тут надо принимать во вни-
мание отсутствие привычного круга людей, захолустье ленин-
градского лета...

И вот мы говорили, радуясь, что нам все понятно - я называл
создание его стихов развоплощением (каким? зачем?) явлен-
ности, которая в миг окончания возникает в совершенно ином
порядке. Он называл это спиритуализацией... Я говорил о
молчании, как о конечной цели любого творческого акта, потом
где-то два спустя я слышал о молчании, как о божественной
цели поэта на поэтическом собрании в честь Л.А.

Впрочем, а что тут такого? Так или иначе слышали мы,
что детей растить, дома строить, сады насаждать и пр. - де-
ла человеческие. Но корабль в пустыне, да и любое дело,
лишенное на первый взгляд смысла - промысел Божий. Вот и
наши разговоры тоже...

Много ли мало ли времени прошло — какая разница. И почему я задумался еще раз о том, что манило меня когда-то возможностью обрести случай бескровного проникновения в темноту поэзии В.К.? Снова гляжу на разрозненные листки и не улыбаюсь даже своему тщеславному желанию — благо было оно в прошлом, там и осталось. —

Я давно не слушал, как он читает. Последнее, что делалось мне слышать, был несколько громоздкий, избыточный текст "Египет". Но он был красив, как и должно ему быть. Но если так будет продолжаться дальше?

Что будет продолжаться? Не знаю... не знаю...

И тут, прибегая к совершенно чуждой мне терминологии, подумал, что все, что ни делается им — греховно. Перечислим три смертных греха! Неверие, отчаяние, гордыня... И, может быть, теперь, продираясь сквозь безжалостную чашу выстроенных садов, раскроем тайну иронии. Не гротеска, осмеяния, фиглярства — иронии горькой тени, создания, порожденного ни ночью, ни днем, ни утром, ни вечером.

Не сад, а ад. Двойственность, в которой душе не обрести Целого, окончательного воплощения, но только круг за кругом нестись по кругам развоплощения, устремляясь в сладчайшую бесформенность. Не слияние, но разъединение, разведение, и чем дальше, тем прекрасней.

Приятие бесконечности ни в божественной Благодати, но в Безумии.

...иероглиф даже в начертании своем подобен кристаллу...

Как нелепо иногда оканчивались мои поездки в Африку. Ранее я думал, что все неудачи просто стечение обстоятельств, однако теперь вижу, что дело в другом.

В первый раз, еще в Каире, я заболел ангиной. Представьте себе: двенадцатый этаж, зной, от которого ничто не спасает, лимонный сок, от которого сходишь с ума, внизу визг и крик, над головой серое, с желтой каймой небо.

Проболел я две недели. Пришлось возвращаться не соло хлебавши. Действительно, чистым безумием было бы продолжать путешествие...

На следующий раз, когда мы добрались до озера Чад и уже почти договорились с голландскими гидрологами об использовании их станции для нашей базы - мой приятель случайно прострелил себе голень из "спрингфилда", демонстрируя вождю местного племени мощь своей, как он выражался, системы. Виной непростительной оплошности послужил напиток, изготовленный из молодых побегов крохотной тыквы Аму. Напиток привез вождь. Он появился на закате в черной касторовой шляпе и небесно-голубых штанах. Кроме этого и очков в золотой оправе, на нем ничего не было. Не более всего поражала его двуколка, в которой он выплыл из облака ржаво-красной пыли...

Мы тогда должны были уйти в глубину центрального региона, где по слухам жило племя Занага, женщины которого от долгого заточения в глиняных хижинах, лишенных окон, стали мучнисто-белыми.

Помимо этого, от неподвижного образа жизни, женщины полнели. Вес их достигал в среднем до 250 кг.

Нам и на этот раз не повезло.

Почему мне не 120 лет? Или почему я еще не умер?

Неукто не понятны слова, принадлежащие, по всей вероятности, Обаку, беседовавшему с учеником!

Ученик - Как стать свободным?

Обаку - А зачем?

Ученик - Чтобы быть свободным.

Обаку - Разве ты не свободен?

Ученик в замешательстве молчит. Обаку (кажется, это все-таки он) указывает на дверь и говорит:

- Пошел прочь, кретин!

Суровая, скупая мужская беседа...

Надо ведь когда-нибудь спросить! Вот я и спрашиваю: что досталось мне от отца? Ряд воспоминаний о нем, за достоверность которых не ручаюсь, да драный на спине халат. Тридцать лет назад он был еще махровым. Синим, с красными узкими полосами. Халат и еще привычка угрюмо выхаживать по комнате, заложив руки за спину.

От матери — склонность к передразниванию, паясничав, к жалким, коротким хитростям и, разумеется, апломб, приводящий иных в состояние тихой злобы.

Но это еще и от бабушки, чей горбатый нос и по сей пору приводит меня в трепет.

Вспыльчивость и скрытая замкнутость деда. Что еще? А ничего, кроме драного халата и, неведь откуда взявшейся, тяги улизнуть из дома. Незаметно, ночью, ранним утром, во что бы то ни стало.

Ради чего спрашивается? Да ради ничего. И все это наряду с тоской по дому, по укладу прочному, давнему, наряду со страхом исчезнуть без следа, пропасть, сгинуть.

Когда я жил на другой улице, я часто приезжал сюда по вечерам, в гости к одному человеку. Мы сидели, пили чай, предаваясь праздным и веселым, иногда грустным разговорам. Были вечера, когда он читал мне стихи, и я с удовольствием слушал. Мы расставались, и я пешком уходил домой. Я возвращался, думая о пустяках: о том, что в эту зиму никто не постареет, вспоминал, каким будет снег и где застанет он

меня. Думал о лете. Лето всегда представляется мне порой разлук, утрат. Признаться, я побаиваюсь лета.

Думал я и о том, что видел. Например, проходя мимо огромного тополя, что на углу Б.П. и 18-линии, большого старого дерева с глубокой сильной корой и листвой снизу вялой, сквозной, а к кроне, — широкой и мощной, я думал, что вижу дерево, кору, листья. И это правда, потому что можно подойти и тронуть рукой кору, ствол, оторвать лист, растереть его в пальцах.

Бывало, что навстречу двигался прохожий. Я смотрел на него и думал, что идет прохожий, и мне совершенно безразлично — кто он, откуда, зачем и какие на нем пуговицы. Прохожий был деревом.

Можно и так — дерево было прохожим. А лучше всего сказать, что в эти часы прохожим был я. Я проходил одно, другое, и думал, что иду домой.

Теперь я не живу там, где жил. Ныне из своего окна я могу видеть, как горит свет на кухне этого человека, могу угадать его тень, когда он склоняется над плитой, заваривая чай.

Он так близко, что вздумай я зайти к нему — мне надо было бы только перебежать двор. Однако уже год я не был у него. И что еще: мне начинает казаться, что я вообще уже не буду у него, а мы вроде и не ссорились...

Большого внимания заслуживает тот факт, что поэт Басе, разгуливая по дорогам страны, с большим удовольствием играл в "рэнку" не только с поэтами, но и с простыми людьми: пастухами, крестьянами, солдатами, разорителями гнезд и могил. И дело здесь не в том, что таков был поэт Басе, а в том, что таковы были и солдаты, крестьяне, разорители гнезд и могил, пастухи, оборотни и лисы.

Достоен похвалы обычай, закон, отделивший поэтический язык от обиходного, сделавший поэтический язык предметом изучения и обучения. Дальнейшее и не так важно. Действительно, не говорим же мы на языке математики, физики, социологии, однако до смерти помним азы: X — неизвестное, аргентум — серебро...

Не уверен, смог бы я сыграть в доказательство теоремы Берна с Гильбертом, но знаю хорошо, что и он не смог бы поиграть со мной в "рэнку".

Иногда смотреть на беременных женщин неприятно. Вероятно, потому что беременная женщина настолько удаляется от мужчины, что уже неподвластна ни эстетическому осознанию, ни нравственному, ни религиозному. Предстаешь как перед совершенно иной формой жизни.

Вчера видел, как шла беременная среди деревьев. Был ветер и ветер облегал ее живот... Что то мне стало казаться понятным. Но что?

Ну скажи, что ты меня любишь, скажи. Ну что тебе стоит! Скажи, это так просто. Я научу. Сначала надо говорить о себе. Это начало. Говори смело и ясным голосом, как будто по телефону. Надо упомянуть все, что полагается в таких случаях: и звезды и небо и ветер и птиц и воду и огонь и камень и дерево и снег и уг~~ор~~ и слизь и лист и ночь и хлам и рассвет и ожидание и терпение и боль и низость и величие и предательство и ложь и смерть и рождение и сестру и брата и одиночество и глупость и разведенные ноги и пот и соль на губах и хохот и разбитый стакан и тошноту и блевотину и шиву и поэзию и знамена ненависти и стол и окурки и грудь и рука и вино которое расплзается по полу и солнце и разваленная лодка и бормотание и углы и пространство и всяческую дребедень и день лета и скуку и так далее.

Такое и во сне не приснится.

Да поверит ли кто-нибудь, что мне ничего не нужно? Никто. И я сам не поверю — нужно то-то и то-то, это и другое... Но ведь и в самом деле мне ничего не нужно! И ни того, ни другого, ни этого, ни того. Тогда зачем мне все это!

Ах, любезный сердцу моему друг, ах Боря! Выиграть эдак тыщ по десять в спорт-лото, умереть как личность, и закусив "федоровскую" трубку в зубах в костюме из первосортной чесу-чи (и что б никаких винных пятен! ни-ни!), носиться с мрач-ными лицами по Мытнинской.

А книги все в Букинистический, по номиналу, а бумаги разные в Обводный спустить поутру, когда в глазах песок во-рочается, а на заднем сидении очаровательная длинноногая шмара сидит сонная, покивая в это божественное утро, не в состоянии сказать нам ни слова.

И не потому не в состоянии, что ностальгия у нее какая или сплин, или похмелье, а от того, что немая она с рожде-ния. И пусть улыбается она и икает, а мы нажмем тогда, Боря, на педаль и разгоним свой велосипед, прости, машину до не-описуемой скорости, кевырем блаженно напоследок в носу и взмоём идиотским алым мотыльком над кровлями, позлащенными косыми лучами восходящего солнца.

Но шмару губить не будем. Не будем, любезный сердцу моему друг. Пусть живет она в лучах восходящего солнца, дитя неясных перламутровых надежд.

Иногда мне это снится: прямая выбитая дорога, обсажен-ная гигантскими дуплистыми липами, клубы пыли, плывущие над головой — я сижу в автобусе. Духота невыносима. Пыль сизой коркой запеклась в углах рта, а тени деревьев теребят, тере-бят лицо.

Столетние, душистые липы поблекли от солнца, за их предвечными корявыми стволами стелется и все не отстают поле подсолнухов. И там, в поле, я знаю, лежит такая тишина, что от одной мысли о ней губы сводит горечью. И нескладанно приходит на ум дикое для этих мест — Фрейд. Зигмунд Фрейд. Кто это?

Я придумываю, что вот этот Фрейд бредет навстречу по обочине в порывшем от солнца суконном сюртуке, в мятой хасидской шляпе — и только дергает головой. Как нелепо.

Гд-то в этих местах сгинул Скворода...

Старухи в полотняных рубахах, с медными тусклыми серьгами в ушах, качались у окон. Головы старух крыла желтоватая пыльца.

И тут сон мой перебивается воспоминанием того, что было вьаве — вочив вижу стену из крохкого песчаника, под стеной старика с желтоватыми углублениями вместо глаз, молочнуб, не по-земному легкую бороду. Над тополями бежит горячий свет.

Расставив ноги в коротких холщевых штанах (ступни его цвета ореха тоже горячие, — как и стена, как тополя, как воздух), он вертит корбу лиры, косо поставленной на колени. Иногда, когда лира визжит тише, старик вставляет дребезжащей скороговоркой с распевом на конце какие-то слова.

Пресыпаюсь с мокрым лицом.

Приятно, имея в сумке несколько бутылок вина, осенним вечером идти куда-нибудь, чувствуя себя никому особенно не нужным, ощущая себя зерном, затаенным в сердцевине плода-города.

В середине октября уже могут быть заморозки. Вместо росы теперь на стенах, на останках растений, стволах, кровлях лежит серый иней. В садах хрустят под ногами листья, а в сухом терпком воздухе смех разнесится легко и далеко. В такое время можно услышать шепот, зотя тех, кто говорит, не видно.

Резко и сильно горят фонари. Их свет привычен и не раздражает.

В сумке позвякивают бутылки и, несколько позже, будто совершенно неожиданно останавливаешься у дверей той, о ком вспоминал сегодня утром. Если она дома и ничто не мешает — вечер проходит в меру быстро за разговорами о погоде, друзьях, прошлом. Говорите об уехавших, которых, судя по всему, ни ей, ни вам уже не увидеть. Но в осенних воспоминаниях нет горечи.

Уйти ранним утром, когда она еще спит и процается спрессенок, беспомощно улыбаясь, кутаясь в одеяло.

А потом шататься весь день по городу, посетить любимые места, встретить кого-нибудь из знакомых, соврать им что-нибудь, а вечером уехать, зная, что и там, куда ты едешь, ты не особенно нужен.

Бесспорно, уезжать следует осенью, когда и дорога не в тягость, и на душе спокойно.

Кстати, первый снег лучше всего увидеть в других местах, в другом городе, в чужом доме, когда нет хозяев и ты один.

Слышали мы: "Совершенное деяние не оставляет следов".
Дни мои совершенны.

Что я хотел сказать — непонятно... Постой, говорилось об отъезде, о том — что мы испытываем оставаясь... и о том, что не привязанность, но окончание тревожит. Словом, что-то и говорилось, может быть.

А теперь работаю сторожем. Душа моя пребывает в весельи. Имею возможность подолгу смотреть не отвлекаясь на одно и то же. И вот я смотрю на осоку, растущую у самого порога. Сквозит в ней зальи, а месяц тому она была настолько густой, что за десять шагов человека нельзя было увидеть. Видел, как меньше становилось комаров, как кипели мухи в солнечном омуте сентябрьского воздуха. Затем и их не стало.

Шелестит осока, камыш. Трепещут на ветру слабые водянистые деревца. Иногда вдали, а с крыши видно далеко, кто-то появится. Радуетесь, что к тебе. Досадно становится, если свернет человек в сторону. Но когда к тебе — снова творится непонятное: радовался, хотел, чтобы пришли, а отворачиваешься, смотришь — осока шумит, ветер; и не знаешь, что сказать гостю. Сушит ветер ваши глаза, и сидите вы, покуривая с гостем, на крыльце.

В бестелесности рождаемся, а к старости обретаем ни на что ни годное рубище дряхлых костей, ветхих артерий, бесполезной кожи. Плохой плащ достается нам для переправы через Стикс

Если говорить о знании как о сумме накопленных сведений, систематизированных некой "сверхзадачей", то нет у меня никаких знаний. Нет у меня и цели, разрознены и зачастую совершенно неожиданны сведения, запавшие в память неведомо зачем.

Если говорить о знании как об архитипической структуре, то и это знание проявляется только в отношениях с другими, появляется как необходимый язык, как мост, по которому может пройти всякий и провезти за собой любую кладь.

Стоит им оборваться, отношениям, как я вновь оказываюсь в абсолютной изоляции, в пустоте самого себя, где порой сталкиваюсь случайно с обрывками разных и даже для меня никчемных сведений, а поскольку нет той пресловутой заданности, которая формировала эти сведения, той я оказываюсь в области настоящего неведения, "предзнания"... Может быть, то, что мне кажется пониманием попросту галлюцинация? Но подлинна ли она?

Подчас с особенной остротой ощущаешь неловкость от того, что существуешь, и, тем самым, причиняешь бесконечные неудобства окружающим. И не различаешь ни близких, ни чужих, равно среди всех тяготишься стыдом за то, что приходится, неведомо по чьей воле, задевать их, уязвлять, отнимать у них время.

Мысль эта не постоянна. Приходит изредка. А иногда думаешь, что подобного рода размышления не чужды и другим. И точно так же, как человек, вспомнивший невольно что-то ему неприятное — свистит, напевает — так и мы лихорадочно порой начинаем говорить о том, о сем, острить, смеяться — лишь бы, грехным делом, не подумали, что навязываемся, мешаем...

Нет, не выходит из головы тот отвратительный вечер. Спорили, зная, что спор бессмысленен. Доказывали то, что не требует доказательств. И можно было бы по-разному объяснить, почему возник спор — дескать, в этой комнате некогда жил человек, питавший пристрастие к нескончаемым пререканиям... Другими причинами объяснить можно было бы, если бы и эти объяснения не были лишены смысла.

И теперь вот накипь на всем, скучная полынная окалина. Спать не хочется, читать не читается, а мысли все возвращаются к спору, все хочется что-то спасти. Не то, не другое, не мнение, не правоту, а...

Не знаю, не знаю.

Конец шестидесятых годов и начало семидесятых характеризуется, в большей или меньшей степени, массовым обращением к религии. С одной стороны явление довольно просто объясняется наблюдателями - в первую очередь подчеркивается стремление к ценностям, производимым не в сфере политико-экономической, а к ценностям, извечным, нетленным, духовным, вневременным, с последующим "исходом" из контролируемых государством областей.

Все это так. С молниеносной быстротой за несколько десятков лет, отмеченные печатью доступности, сменяли себя, подчас уживаясь вместе различнейшие верования - православие, буддизм, дзен, католицизм, хасидизм - различные точки постижения. Напоминает это черный рынок, на котором торгуют книгами: та же пестрота, одна и та же всему цена - очень подорожало.

И во всей голубокружительной сумятице религиозных доктрин, течений, школ среди вновь оживающих энтузиазма и нетерпимости трудно отыскать пресловутое горчичное зерно веры. Она подменена обиходным д о в е р и е м. Доверием к тому, что после затраты какого-то времени и усилий, после освоения ритуала - даруются нам "ключи власти", которая и поможет совладать со смятением и страхом уже не силой осведомленности, но через другое начало. Обращение к религии как к магии подобно тому, если бы, к слову, мы обращались к поэзии за советами: как одеваться, как проводить отпуск, сервировать стол, играть в спортлото...

Искреннюю ненависть испытываю ко всякого рода эпиграммам, сентенциям, максима́м, афоризмам. Настолько они неестественны и фальшивы в своей ловкости, блистательной парадоксальности!

Раздражение не покидает долгое время после чтения даже самых "легких", самых "остроумных" изречений. В чем тут дело? Когда я читаю, я отдаю должное и отточенности стиля автора, и его демоническому уму, проникающему, казалось бы, во все закуски нашего существования, а после с недоумением и раздражением вспоминаешь каскады фокусов, свидетелем которых был... Словом: "ловкость рук и никакого мошенства". Уж лучше было бы "мошенство"... Хотя и его достаточно. Не мошенничество ли записывать все это?

Кого не спрашиваю, никто толком припомнить не может "Иордаль" Чехова, "Козак", "За городом". И еще что-то вроде повести - "Моя жизнь". О ней, правда, говорят. Но все не так, все по-другому. Хотя я сам не знаю, чтобы мне хотелось о ней услышать.

Для меня эта повесть принадлежит к наиболее, на мой взгляд, совершенным произведениям русской прозы, из которых прежде всего назову "Суходол" Бунина, затем "Бесы" Достоевского.

Как пронзительно чудесен "Суходол", как изначально прост, жесток, предваряя будто своим блаженно высоким складом гибель и безумие, явление^Н задолго до этого в "Бесах".

Роясь недавно в книгах, взял и стая прочел, как говорится, на одном дыхании этот "Суходол". Прочел с ясным и покойным чувством понимания того, кто рассказывал. Будто и он, и я постарели, поумнели, и ничто не отвлекало нас от неспешного и простого размышления о давно известной жизни. И какая красота - повседневная, высокая, скорбная!

Посуди сам: чем проше становится человек, тем с большим сомнением и неверием относятся к нему друзья, недруги, женщины. А когда он действительно достигает простоты, его тотчас начинают уличать и во лжи, и в позе, и в двусмысленности.

Лет пятнадцать назад было легче. Тогда таких просто дураками считали: Он? Да он же дурак! - и дело с концом.

Ныне почему-то предполагают в таком человеке сатанинский ум, тайные умыслы. Из всех сил стараются доказать ему, что и они не лжком шиты. Ну вот... Плоды просвещения.

Вот и ночь кончается, уходит. Себеседники наши: кто голову уронил на руки, кто в окно глядит, кто курит и стакан с остатками вина не выпускает из пальцев, а кто обнял кого-то, и им двоим тепло и спокойно. Настал час предутреннего чая.

В какой раз, с самого начала, медленней; так медленно, что и слов не найти — зажжем огонь на плите, наберем воду и проживем еще одной ожидание.

Смотри, как в чайнике разворачиваются чайники, обращаются во влажные коричневые листья и вода темнеет...

Так вот, напоследок, я хочу напомнить тебе, Боря, о том, что мы говорили, но не успели договорить — что-то отвлекло нас, кто-то сказал другое. А мы говорили о забывании. Будто тает, выпадает из целого единицы, и оболочка за оболочкой разрушаются покровы, сущности, вплоть до последней: "я" и "то".

Какая разница, исчезнет вначале "то" или "я"!

Замечания об Алейникове.

I. Не говорите мне об Алейникове. Не спрашивайте, где он и что делает. Я не отвечу, потому что не знаю. Минув год с той поры, когда стояли мы на Фонтанке и пили пиво. В воздухе плыла дена, острые скользкие облака крались по краю неба, а ветер, великое бессмысленное животное, бродил меж наших лиц.

И впрямь прошел год. Но прекрасно и это. Трудно увидеть моего друга вблизи, схватить взглядом. Не для рассматривания он — слишком громоздок.

И потому не к приближению, а к отдалению будем стремиться, говоря об Алейникове.

2. После полудня, августовским трамваем качу по Садовой. Сама по себе возникает вдали лохматая рыжая пропыленная голова, белесая борода, темные очки, криво сидящие на носу. Выскакивая и что есть мочи ору вслед:

- Алейников!!!

Издаലെка... поворачиваясь ид медленно (но можно ли так медленно - улица выжженная стрижочущая лента немого фильма), так поворачивает неудобный корабль, оборачивается он и...

3. Пьем пиво на Фонтанке. Из восьми кружек, которые он снимает в своих руках (по четыре в каждой) взмывает пена, и он, чудовищная пивная Венера, покачивается в стекле петербургского лета.

О чем говорили мы?! Не упомянуть, не упомянуть... Я вижу его, а слова они сами найдутся. "Небо здесь низкое...", "Да, но посмотри, как вязко тянется вода, она как веревка...", "Да, знаешь, что больше всего томиле меня в детстве? Веревка и лезвие...", "Да, еще кружку".

Всяке рассказывают про него. И про мифические записные книжки, где собраны телефоны и адреса двух тысяч человек и которые (не выдержав столь ярой общительности) сожгла его последняя тогда любовь Н.С., а на следующий день опять видели, как переключивал из кармана в карман новые книжки... И то, как затеял он праздник у Кривулина...

Много неблиц, историй, где сплавлены и восхищение и гордость, ирония, любовь, ненависть и отвращение. Но нет при всем том в историях об Алейникове и тени сомнения. Алейников - фигура полностью достоверная. Достоверна, как может быть достоверен только миф.

4. И познакомились мы с ним чрезвычайно естественно, легко, точно были знакомы давно, а нынче встретились просто после какой-то и нам самим непонятной разлуки. Долгой, однако не обременительной. Думаю, что со многими он встречался и встречается так, хотя причиной наших отношений послужило, возможно, иное. Как и я, он с юга, с Украины, и не разумом и речью, а каким-то другим родством определилось узнавание, встреча. И жизнь наша в основных событиях сходна до удивления — как и он, провел я свои юность в провинции, а затем "следуя извечному обычаю, предписывавшему внешам-поэтам странствовать по свету в поисках красоты и чести" таскались безмятежно по разным местам, откуда не остановились: он в Москве, я в Ленинграде.

Говорят современные литературоведы о двух литературах: литературе, которая рождается из культурной традиции, развивается либо вопреки ей, либо в тесной взаимосвязи, что в последовательном качественном освоении ее, и литературе-поэзии, которая создается в конкретной жизненной ситуации. Последнее, очевидно, относится к поэзии Алейникова.

Как не вспомнить здесь горькое признание Томаса Бульфа: "в чужом крае мы чувствуем себя скитальцами, а в эхом доме нам не находится места".

Рано или поздно эту истину начинает понимать каждый поэт, в каком бы культурном контексте он не существовал, но горше вдвойне она для таких, как Алейников. Разве не потому хватается он за каждый стакан вина, протянутый к нему, за каждый колос, паутинку, тень, страшась оторваться навек от того, что и поныне единственный его наставник — мир обыкновенной жизни. Оторваться и стать странником, врозь, испра-

живающим в сокрушении сердечной слова и хлеба во многих домах?

А разве не знает он, что стал таким уже с незапамятных пор?

5. Много дано нам путей. Путь мучительного смирения и покаяния. Путь гордыни и одиночества. Путь ярости, самоуничтожения, стезя реза, пота и крови. Куда ведет она? Откуда нам знать. Но ведь были же любезны они народу — лирики, певцы-калики, странники, вечные ученики Мира Господнего, несли ведь они тайну своей незатейливой мудрости, была понятна и близка эта тайна, которую и раскрывать не надобно — хватает душе нашей вполне страсти и боли, ликования и слез, хватает высшей уже не поддающейся словам радости, которая вновь приближает нас к веселью каждой твари, каждого камня, дарит их нашей любовью.

Нет, счастлив твой Бог, Алейников!

из "СЕЗОНОВ"

Говорить об осени можно бесконечно. Осенью и вода прозрачней, и огонь чище и голоса слышней. Известно нам, как по вечерам пламя свечи отделяется от былинки фитиля, чтобы, повиснув во тьме, плыть затем золотистой заездой, перекликаясь с нашими глазами, ворожить, вызывать образ всды, течет что день и ночь, пронося листву сухую, щепу, солому и разный сор. Видели как час от часу стройней становятся стволы ясней и

сосен, а лист истончается, теряет очертания.

Предвосхищение великого порядка коснулось природы и только по ночам еще яростный хаос запахов кипит над землей, но утром — недвижимым бременем ложится роса, со стуком валятся листья. Тяжелее полет редкой пчелы и птица дольше молчит по утрам.

Отрываются и слетают на землю листья. Никто, никогда не видел, как отрывается лист, как из вечности возникает время, и никто не видел, и не увидит того, как душа покидает тело. Кто скажет, что это смерть? Неужели мы говорим о смерти!

Осень — это свобода. Пар у рта. Тихо и просторно. Осень уподобим пространству, где длится ловля эха выстуженными губами воды, а в тумане зреет новый свет. Ближится сентябрь — зрение не жмет.

Скажем теперь, что осень рождается мир. Как просто! Ты говоришь рождается, а сам-то думаешь разве в этот миг о мире?

Да, — скажешь ты, и я поверю тебе, потому что мне безразлично: так это или нет.

Время отсчитывается водой, а пространство измерено светом. Тяжелеет земля. Вдалеке птица. Не станем выяснять, к какому роду относится она. Она розова, потом становится прозрачной, приобретая сходство со льдом, терлется из вида, но вот синева наливает ее могущественное тело, она пропадает.

Не ощущает ли птица осень раньше тебя. Мыслям надлежит быть обращенными к ней — чудесно это создание. Чудесно так и в вымыслах, так и в действительности, когда окрыленная ранним светом пронизывает горные просторы. Число и комек

перьев, соединенные воедино пугливой кровью.

Она красива, и красота ее связана без сомнения с водой и дыханием. Изменилась вода, стало другим дыхание...

Но не слишком ли мы много говорим об осени? Довольно. Стучи. Пусть отворяют дверь. Смеркается, и становится довольно прохладно.

Помнится, мы говорили об осени. Теперь подойдем к окну. Долго мы были увлечены беседой, друг другом, но я возьму тебя за руку и не торопясь, минуя столы, постели, стулья, медные мертвые чаши, подойдем к окну, словно не любовники уже, а собеседники — возлюбленные в речах.

И подойдем к окну. Оно достаточно широко, чтобы увидеть нас самих и остальное... Великий корабль, о котором с усмешкой и неверием мы вспоминали долгое время, подошел к берегам. Широкие паруса застлали небо, опустились откуда-то сверху, полотном легли на черное витийство ветвей, на камень, землю. Легли и сокрыли то, что минуту назад было живо. Оцепенела звезда, лишенная второго бытия в реке.

Снег, белизна и безмерные спирали ветра, бесполезного, бесплодного, ибо не переносит он пыльцу с одних цветов на другие, не разбивает зеркала вод, не вьет, наконец, листву, но лишь движется да и только в совершенной симметрии снега, льда и тишины.

Не мне рассказывать, как летом, слушай внимательно, благословенные августом, июлем, мы на лету, пронесаясь над

дугами, полями, продираясь в зарослях орешника, шиповника, бузины, акации — и прикасались невзначай к собственному телу, коронованному выгоревшими волосами, осеннему загаром, взда- гивая, теряя дыхание... и вовсе не думали о времени, начале, конце, о той поре, что наречена зимой.

Если в сентябре наш врачек сужен дымом и пространством, а ноздри ловят некую гарь умирания, а слух плывет и себеб- рится в извивах птичьх голосов, которые покидают нас — размыш- ляем ли мы о зиме и времени? Нет. Можно представить, допус- тить возможность, но и только!

Неподалеку хохочут дети. Падают, поднимаются, хохочут. Что-то мешает нам точно так же смеяться, падать и опять сме- яться. Что-то мешает нам плакать... Дети есть дети. Что тут еще сказать...

Не будем говорить более, что какой-то корабль, дескать подошел к каким-то берегам, не будем говорить о нелепых пе- летках, сравнивать их со снегом, оставим жалкие ухищрения, коими в должной мере нас одарила поэзия, и взглянем снегу и льду в глаза. Поистине, мы светильники самим себе. Нас не проведешь. А вон просветленная холодом плоть лица в остывшем пламени стекла — греем в голубоватых ладонях безжизненный цветок вина, строгий, незамутненный, нескудеющий. И тому при- чинной руки, что сжимает его, и солнце тому причиной, от кото- рого отворачиваешься так как думаешь о другом, том солнце...

То, это... то, это. Тогда и сейчас.

Извилист и нелегок путь зимы. Однако кто избежит его хоть один раз за жизнь? Идем по нему иной раз безразлично, порой печально, не отводя глаз от белизны, что распростерлась, укрыв смирившийся стебель, скорбный труп разбитой птицы.

И не забываю я вовсе ничего. Конечно не забываю. Просто перестав требовать. Это как в детстве, своим умом доходишь, что настала пора выпускать птиц из клетки, которых тебе не дарили, и которые, якобы должны были петь, а для этого ты должен был кормить их, поить и слушать, т.е. ждать, т.е. требовать их пения.

И не забываю, а просто отвязываю имена от шеи каждой вещи, потому что ни кать, а тем паче требовать мне уже не нужно. Разве ждет нищий того, что наступит пора и он разбогатеет? Нет, конечно же нет! И, не обратив свою нищету в богатство, легко и просто можно дожить свой долгий и ненужный век.

"никогда, никогда, никогда, никогда". или "тогда, тогда, тогда, тогда..."

Хорошие слова, неясные слова, темные слова. Произнеся их, будто видишь чиео и дальше. Видишь то, что никогда не видел, слышишь то, что никогда и не звучало — и все одновременно.

Тысячи, иериады слез в коротком вздохе. И те, кто оставил тебя на севере, чтобы ночами обвинять тебя на юге, и те, кто покинул тебя на юге, чтобы никогда, никогда, никогда не возвращаться уже ни на севере, ни на западе, ни на востоке — все возносят свой голос в слове "никогда, никогда"...

или тогда...

Вспомни сказку о живой воде!

Стены, окна, свет в окнах, рассвет. И не понять — что это такое мой новый день, мой старый день, мои дни, ночи...

По лестнице спускаюсь, дверью хлопая, по улице иду, дворам, переулкам. И день и ночь, и день и ночь, как голову закинув — бегло читаешь в тополиной листве: блеск и тень, блеск и тень.

Рябью брезжит в глазах ветреное небо.

И когда спросят меня — что делал? понятны ли тебе твои ночи и дни, года, десятилетия? — как и всегда лишь плечами пожму.

По лестнице, ступеням, вдоль стен, нагретых солнцем, а наверху еще крыши, где праздновал некогда свое веселье. Дверь хлопнула, пыль оседает на губы, сунит их.

В ушах гремит чистая и грезная ложь моей странной жизни.

И Т.Д.